

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»

Н.В. Зайцева, О.А. Харитонов

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

**Учебно-методическое пособие
для студентов-филологов**

Елец – 2020

УДК 82
ББК 83
З 17

*Размещено на сайте по решению редакционно-издательского совета
Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина
от 28. 01. 2020 г., протокол № 1*

Рецензенты:

В.А. Бурцев, доктор филологических наук, профессор
(Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина),

Б.П. Иванюк, доктор филологических наук, профессор
(Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина),

Н.В. Зайцева, О.А. Харитонов

З 17 Введение в специальность: учебно-методическое пособие для студентов-филологов. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, 2020. – 101 с.

Учебно-методическое пособие содержит в себе материалы по истории, теории и методологии филологии как науки и области практической деятельности. Содержание курса охватывает широкий круг проблем, связанных представлением о филологии как совокупности научных дисциплин, изучающих человека как говорящее существо, язык и созданные посредством языка тексты – как выражение культуры человечества. Система форм контроля знаний включает задания, позволяющие осуществлять текущий контроль, задания для промежуточного контроля, вопросы для итогового контроля. Материалы данного пособия также должны помочь студентам при самостоятельном изучении дисциплины. В отдельном разделе пособия размещены материалы, необходимые для выполнения заданий по закреплению материала и углублению знаний.

Учебно-методическое пособие адресовано студентам-филологам, обучающимся по направлению подготовки 45.03.01 Филология.

УДК 82
ББК 83

© Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина, 2020

ВВЕДЕНИЕ

Изучение истории, теории и методологии филологии как науки невозможно без прочной литературоведческой базы. Курс «Введение в специальность» способствует выработке этой базы, служит овладению специальным языком науки, поэтому имеет первостепенное значение для студентов, получающих высшее филологическое образование.

Настоящее учебно-методическое пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для специальности 45.03.01 Филология. Учебно-методическое пособие содержит необходимый дидактический материал, предусмотренный программой указанной образовательной дисциплины. Основой пособия является изложение вопросов по истории и теории филологии как науки и области практической деятельности.

Пособие состоит из трех разделов, отражающих логику изучения дисциплины «Введение в специальность» и способствующих самостоятельному и более глубокому ее изучению студентами в ходе образовательного процесса.

Цель курса – дать системное и углубленное знание о филологии как предмете изучения.

Традиционно значительное место в освоении учебного материала занимает самостоятельная работа студентов. Она организуется выстроенной системой контрольных вопросов и заданий, а также темами, предлагаемыми для индивидуальной разработки. Это позволяет соединить теоретическое освещение важнейших аспектов филологии с анализом литературных и языковых явлений. Задания носят творческий, активный характер, способствуют максимальному проявлению самостоятельности студентов уже на уровне начального овладения дисциплиной. Задания для самостоятельной работы способствуют развитию профессионального мышления и выработке речевой культуры.

В пособии дается систематизированное изложение основного учебного материала по темам, сопровождаемое списком рекомендуемой литературы. В конце работы приводятся материалы для чтения.

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Филология как практикоориентированное знание

Филология: слово – практическая деятельность – знание – область науки. Возникновение филологии как практической деятельности и как знания. Первые филологические профессии: учитель риторики, толкователь текстов, переводчик, библиотекарь.

Филология как практически ориентированное комплексное знание (V–IV вв. до н.э. – середина XIX в. н.э.). Филологическая традиция. Возникновение основных направлений филологии: классической, библейской, восточной. Эпоха Возрождения и её значение в складывании национальной филологии (интерес к «живым» языкам; переводы сакральных текстов на народные языки и др.). Реформация как филологическое движение.

Тема 2. Филология как комплексное знание

Возникновение «научной» филологии. Рубежное значение трудов Ф.-А. Вольфа, А. Бёка, Г. Германна в определении предмета научной филологии. Отделение филологии от древней истории. Герменевтика (Ф. Шлейермахер) и её роль в превращении филологии в науку. Специализация филологического знания и дифференциация филологических наук (сер. XIX – сер. XX вв.). Сравнительно-исторический подход к изучению языка, литературы, фольклора и рождение «новой филологии». Развитие национальных филологий. Дифференциация филологии в зависимости от объекта изучения (языкознание, литературоведение, фольклористика).

История филологии в сер. XIX – сер. XX вв. как история борьбы двух тенденций: к интеграции и дифференциации научного филологического знания. Значение идей Л.В. Щербы, М.М. Бахтина и др. для развития общefилологического «ядра» в филологических науках. 1960 – 1970-е гг. как начало этапа «новой», или современной, филологии. Человек как центр филологического знания и смысл существования филологии. С.С. Аверинцев о значимости для филологии проблемы понимания. Нарастание интегративных процессов в филологических науках.

Самопознание филологии и его роль в развитии филологии как отрасли гуманитарного знания.

Тема 3. Язык как объект современной филологии

Проблема языка как объекта филологии в её истории. Общefилологическая значимость языка на современном этапе развития филологических наук – в связи с задачей изучения древних текстов, «воссоединением языка и литературы» (Р. Барт), специализацией языка в разных сферах деятельности человека, повышением роли проблемы понимания и др.

Естественный человеческий язык: язык как система (Ф. де Соссюр) и как «духовная энергия народа», «дух народа» (В. фон Гумбольдт). Плодотворность функционального понимания языка для современной филологии. Устройство языка; слово и предложение как основные единицы языка как системы. Язык в действии; высказывание - основная единица языка в действии.

Естественный язык и другие знаковые системы (параязык, искусственные языки, мифы, фольклор, художественные моделирующие системы и др.).

Аспекты изучения языка в филологии. Филологические науки и дисциплины, изучающие язык как объект филологии. Гуманитарная семиотика.

Тема 4. Текст как объект современной филологии

Текст как традиционный объект филологии. Общефилологическая значимость текста на современном этапе развития филологии. Многообразие современных текстов. Фактура текста: тексты устные, письменные, печатные, электронные. «Лики» текста: текст как источник, памятник, произведение, сообщение. Постижение жизни текста как важнейшая тенденция современной филологии.

Традиционные и современные представления о тексте. Текст как несколько предложений, связанных по смыслу и грамматически; текст как языковое образование, обеспечивающее коммуникативное взаимодействие людей. Значимость каждого из представлений для филологии. Функциональное понимание текста и его плодотворность для современной филологии. Коммуникативность и системная организация как важнейшие признаки текста. Функции текста (Ю.М. Лотман). Мир текстов. Текст в мире текстов. Многообразие и сложность отношений между текстами. Значение интертекстуальных и текстообразовательных отношений между текстами в решении задачи постижения жизни текста.

Аспекты изучения текста в филологии. Филологические науки и дисциплины, изучающие текст как объект филологии. Теория текста.

Тема 5. Homo loquens как объект современной филологии

Внимание к человеку говорящему на разных этапах развития филологии. Роль антропологического поворота в гуманитарных науках, изменения статуса речевой коммуникации, повышения коммуникативной активности человека в середине XX – нач. XXI вв. в придании человеку говорящему статуса объекта филологии. Homo loquens как те стороны, грани человека как целого, которые составляет предмет интереса филологических наук.

Языковая личность, творческая личность как базовые понятия лингвистики и литературоведения, стимулирующие разработку категории homo loquens. Homo loquens как обозначение человека, осуществляющего посредством естественного языка деятельность по созданию и восприятию текста, содержащего любой вид реальности. Важнейшие способности и характеристики

человека как homo loquens: формально-демографические, социально-психологические, культурно-антропологические, философско-мировоззренческие, когнитивные и коммуникативные, лингвистические, ситуационно-поведенческие и др.

Аспекты изучения homo loquens в филологии. Филологические науки и дисциплины, изучающие homo loquens как объект филологии. Филологическая герменевтика. Анализ дискурса. Филологическая теория коммуникации.

Тема 6. Методология филологии

Методология филологии как учение об основаниях и способах действия с ее объектами. Филология как научный принцип (С.С. Аверинцев). Филологический подход к исследованию, его сущность. Методы филологии: методы практической деятельности, методы исследования. Роль субъективного фактора и контекста гуманитарных наук в филологическом исследовании.

Филологическое научное исследование. Важнейшие понятия: познавательная ситуация, объект, предмет, фактическая область, цель, задачи, средства и др. Методы исследования - общенаучные и частнонаучные. Методы наблюдения и эксперимента. Методы классификации и моделирования.

Логика научного исследования в филологии: движение от проблемы через гипотезу к теоретическому результату. Специфика научных проблем в филологии. Постановка проблемы. Разработка гипотезы. Виды результата: теория, модель, описание, осмысление, новая интерпретация и др.

Организация научного исследования. Этапы научного исследования (подготовительный, основной и заключительный), их задачи. Выбор темы исследования, обоснование ее актуальности. Представление результатов исследования в научной коммуникации. Учебное научное исследование, его особенности.

Тема 7. Филология в современном обществе

Статус филологии в современном мире. Филология – основа «всей человеческой культуры» (Д.С. Лихачев). Расширение круга задач филологии в современном обществе и повышение значимости семиотики, герменевтики, теории текста, филологической теории коммуникации, риторики в системе филологических наук. Филология как социальный институт. Специфика коммуникации в филологических науках. Филология в современном образовательном пространстве России.

РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА И САМОПРОВЕРКИ

1. Тематика практических занятий

Практическое занятие № 1.

История филологии: к интеграции и дифференциации научного филологического знания

- Назовите задачи, объединяющие классическую, библейскую и восточную филологию в период их возникновения и первоначального развития. Какие задачи различают эти три направления филологии?
- Какие идеи Ф.А. Вольфа нашли свое отражение в понимании современной филологии?
- Чем объясните, что становление филологических наук связано со сравнительно-историческими исследованиями в гуманитарном знании? Аргументируйте факт объективности процессов дифференциации в филологии середины XIX – середины XX в.?
- Что такое междисциплинарное ядро знаний в филологии? Каково его значение для развития филологических наук?
- Какие процессы в науке и культуре вызвали складывание новейшей филологии?
- В чем отличия филологии на новейшем этапе ее развития от «новой филологии»? С чем они связаны?
- Какие изменения претерпевает общefилологическое ядро филологического знания на современном этапе развития филологии?

Творческое задание: найдите в энциклопедических словарях материалы, рассказывающие о возникновении национальной филологии – русской, татарской, бурятской, якутской, английской, болгарской и др. (по вашему выбору). Когда они возникают? Каковы их достижения? Назовите крупных ученых в каждой из национальных филологий.

Практическое занятие № 2.

Язык как объект современной филологии

- Почему естественный язык является объектом современной филологии?
- В чем состоит значимость Языка для языкознания? для литературоведения?
- В чем заключается сущность функционального понимания языка? Почему оно плодотворно для филологии? Каковы точки соприкосновения языка как системы и языка в действии?

Творческое задание: Из своего коммуникативного опыта приведите примеры взаимодействия языка с другими знаковыми системами. Что в языке изучает лингвистика? литературоведение? Что такое семиотика?

Практическое занятие № 3.

От языка к тексту: текст как объект современной филологии

- Почему текст является объектом современной филологии?
- Традиционные и современные представления о тексте. Понятие текста как объекта современной филологии.
- Текст в мире текстов.
- Аспекты изучения текста в филологических науках

Творческое задание: одинаково ли отношение языка к литературе и сетературе? Ответ аргументируйте. (Понятие литературы можно заимствовать из учебников по введению в литературоведение, из энциклопедических изданий.)

Практическое занятие № 4.

От языка и текста к человеку: homo loquens как объект современной филологии

- Почему homo loquens является объектом современной филологии?
- Понятие homo loquens как объекта современной филологии.
- Аспекты изучения homo loquens в филологических науках.
- Обсуждение и анализ материалов для чтения.

Творческое задание: тезис «Говорить значит не передавать свою мысль другому, а только возбуждать в другом его собственные мысли» (А.А. Потебня) раскрывает проблему говорения / понимания применительно только к художественной коммуникации? или и к другим ее видам?

Практическое занятие № 5.

*Научное исследование в области филологических наук:
важнейшие понятия и логика научного исследования*

- Методологические основания современной филологии.
- Филологическое научное исследование: основные понятия и методы.
- Обсуждение и анализ материалов для чтения.

Творческое задание: в двух-трех энциклопедических словарях найдите словарные статьи «филология». Сопоставьте их содержание. Что общего между ними? Какие различия отметили? Попытайтесь объяснить их.

Практическое занятие № 6.

Научное исследование в области филологических наук: общенаучные методы исследования и их специфика в филологии

- Филологическое научное исследование: логика процесса исследования
- Организация научного исследования: подготовительный, основной и заключительный этапы, их задачи
- Обсуждение и анализ материалов для чтения.

Творческое задание: охарактеризовать важнейшие открытия в филологии XX–XXI веков (на материале исследований русской литературы).

Литература:

1. Николина, Н.А. Филологический анализ текста: учеб. пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Русский язык и литература» / Николина, Наталия Анатольевна. – М.: Академия, 2007. – 272 с. – (Высшее профессиональное образование).
2. Чувакин А.А. Основы филологии: учеб. пособие / А.А. Чувакин; под ред. А.Н. Куляпина. – М.: ФЛИНТА, 2011.
3. Шушарина, И.А. Введение в славянскую филологию: учеб. пособие / И.А. Шушарина. – М.: Флинта, 2011. – 302 с.
4. Незабываемые голоса России: Звучат голоса отечественных филологов / под ред. О.В. Антонова, Д.М. Савинова. – М.: Языки славянской культуры, 2009. – Вып. 1. – 249 с.
5. Файер, В.В. Александрийская филология и гомеровский гекзаметр / В.В. Файер. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. – 256 с.

2. Тематика письменных работ

1. На основе изученных тем приведите определение современной филологии.
2. Приведите пять – семь терминов филологических наук, которые отражают возникновение и первоначальное развитие филологии.
3. В чем проявляются процессы дифференциации филологических наук на рубеже XIX–XX вв.?
4. В чем проявляются процессы интеграции филологических наук в конце XX века?
5. Приведите пример высказываний, образованных применением средств разных семиотических систем. Ответ аргументируйте.
6. Истолкуйте пять-семь пословиц о речевой деятельности человека с точки зрения отражения в них правил для говорящего / слушающего.
7. Предложите свою интерпретацию темы рассмотренного на лекции художественного текста. Ответ аргументируйте.

8. Какие из изучаемых вами научных дисциплин пользуются методами филологии? Приведите примеры.

9. Нужна ли современному российскому обществу (отдельному человеку) филология? Ответ аргументируйте.

3. Тестовые задания

1. Сколько существует филология как специфическая деятельность человека?

- a) более двух с половиной тысячелетий;
- b) более двух с половиной веков;
- c) более тысячи лет;
- d) около двух с половиной столетий.

2. Что в «Законах» Платона подразумевается под обозначением «филолохус»?

- a) словоохотливый;
- b) малоречивый;
- c) разговорчивый;
- d) говорящий кратко.

3. Что в «Законах» Платона подразумевается под обозначением «брахолохус»?

- a) словоохотливый;
- b) малоречивый;
- c) разговорчивый;
- d) говорящий кратко.

4. Что соответствует древнегреческому слову «филия»:

- a) жертвенно-нисходящая любовь;
- b) привязанность;
- c) спонтанная и независимая от воли стихийная страсть;
- d) любовь, которая основывается на свободном индивидуальном выборе человека.

5. Что соответствует древнегреческому слову «агапе»?

- a) жертвенно-нисходящая любовь;
- b) привязанность;
- c) спонтанная и независимая от воли стихийная страсть;
- d) любовь, которая основывается на свободном индивидуальном выборе человека.

6. Согласно грекам «спонтанная и независимая от воли стихийная страсть» - это:

- a) агапе;
- b) стпрге;
- c) эрос;
- d) филия.

7. По мнению греков, «любовь, которая основывается на свободном индивидуальном выборе человека» - это:

- a) агапе;
- b) стпрге;
- c) эрос;
- d) филия.

8. Когда и где впервые возникала филология как практическая деятельность и как практически ориентированное знание?

- a) сначала на Западе в эпоху эллинизма;
- b) сначала на Востоке в эпоху Ханьской империи;
- c) исторически одновременно.

9. Что не является характерной особенностью классической филологической работы на первых этапах её развития?

- a) собирание письменных памятников прошлого;
- b) установление их текста и истолкование их;
- c) литературная критика письменных источников;
- d) учет научной и печатной продукции и информацией о ней.

10. Какие направления практической деятельности не были характерны классической филологии?

- a) созданием библиотек – работой над письменными текстами;
- b) специализация – выделение разделов в рамках основных филологических дисциплин;
- c) обучение – чтение и разбор поэтических текстов.

11. Одной из первых крупнейшей библиотек традиционно называется:

- a) библиотека в Др. Риме (I–II вв. н.э.);
- b) библиотека в Александрии (III–II вв. до н.э.);
- c) библиотека в Афинах (III–II вв. до н.э.).

12. Как наименовали себя люди, занимавшиеся филологией в античном мире?

- a) прагматики;
- b) лингвисты;
- c) грамматик;
- d) ораторами.

13. Какую из перечисленных профессий нельзя отнести к первым филологическим профессиям?

- a) толкователя текстов;
- b) переводчика;
- c) учителя словесности;
- d) литературного редактора;
- e) библиотекаря;
- f) учителя риторики.

14. Что в античном мире понимали под риторикой?

- a) грамматическое искусство;
- b) искусство вымысла;
- c) искусство убеждения;
- d) искусство слова.

15. Кому принадлежит следующее определение филологии – «содружество гуманитарных дисциплин – языкознания, литературоведения, текстологии, источниковедения, палеографии и др., изучающих духовную культуру человечества через языковой и стилистический анализ письменных текстов»?

- a) С.С. Аверинцеву;
- b) М.М. Бахтину;
- c) Д.С. Лихачёву;
- d) Ю.С. Степанову.

16. Что, на ваш взгляд, является лишним элементом в совокупности объектов, которой в современной науке не занимается ни одна отрасль, кроме филологии?

- a) естественный язык;
- b) духовная культура;
- c) текст;
- d) homo loquens («человек говорящий»).

17. Основной материал современной филологии составляют:

- a) все виды текстов независимо от их фактуры;
- b) только письменные тексты («мертвые языки»);
- c) только устные тексты («живые языки»);
- d) только письменные тексты.

18. Основным методом исследования в филологии является:

- a) наблюдение;
- b) анализ;
- c) эксперимент;
- d) классификация.

19. К дисциплинам, существующим на стыке лингвистики и литературоведения, не относится:

- a) риторика;
- b) поэтика;
- c) библиография;
- d) стилистика.

20. Внимание какой дисциплины сосредоточено на таких вопросах, как стилистические средства языка, возможности их использования в тексте вообще и в текстах разных видов?

- a) риторика;
- b) поэтика;
- c) библиография;
- d) стилистика.

21. Главной задачей какой дисциплины является изучение речевой коммуникации в ее воздействии на читающего / слушающего посредством сообщения?

- a) риторика;
- b) поэтика;
- c) библиография;
- d) стилистика.

22. К вспомогательным филологическим дисциплинам не относится:

- a) текстология;
- b) библиография;
- c) герменевтика;
- d) источниковедение.

23. Укажите дисциплины, существующие на стыке филологии и других наук:

- a) библиография;
- b) герменевтика;
- c) источниковедение;
- d) семиотика;
- e) филологическая информатика.

24. Учение о знаках, изучающее знаки и знаковые системы. Центральное понятие – знак:

- a) текстология;
- b) библиография;
- c) герменевтика;
- d) семиотика.

25. *Истолковательное искусство, изучающее способы толкования смысла. Центральные понятия – смысл, понимание:*

- a) текстология;
- b) библиография;
- c) герменевтика;
- d) семиотика.

26. *Дисциплина, изучающая пути и способы создания, хранения, обработки, изучения, передачи и т.п. филологической информации при помощи информационных (компьютерных) технологий:*

- a) текстология;
- b) герменевтика;
- c) семиотика;
- d) филологическая информатика.

27. *Филология как практически ориентированное комплексное знание относится к периоду:*

- a) V–IV вв. до н.э. – середина XIX в. н.э.;
- b) конец XVIII в. – начало XIX в.;
- c) середина XIX в. – середина XX в.

28. *На базе какой традиции возникает классическая филология?*

- a) западной;
- b) восточной.

29. *Классическая филология формируется в Европе:*

- a) во времена Возрождения (XIV–XVI вв.);
- b) во времена заката Римской империи;
- c) во времена рассвета Византийской империи;
- d) во времена немецкого Романтизма.

30. *Как возврат к древнегреческому и древнеримскому наследию, как комплекс знаний об античном мире, формируется:*

- a) восточная филология;
- b) библейская филология;
- c) классическая филология;
- d) «новая филология».

31. *Филология, направленная на изучение прежде всего сакральных текстов:*

- a) восточная филология;
- b) библейская филология;
- c) классическая филология;
- d) «новая филология».

32. Изучением, толкованием и объяснением сакральных текстов занимается:

- a) герменевтика;
- b) экзегетика;
- c) критика;
- d) поэтика.

33. Время и место возникновения восточной филологии:

- a) в XI–XII вв. в Китае;
- b) в XVI–XVII вв. в Европе;
- c) в XVI–XVII вв. в Азии и Африке;
- d) в XI–XII вв. в России.

34. Основой восточной филологии явилось:

- a) изучение литературных памятников;
- b) изучение языков;
- c) изучение сакральных текстов;
- d) изучение фольклора.

35. Наиболее существенное значение в «донаучный» период филологии имели:

- a) бытовые потребности;
- b) конфессиональные потребности;
- c) рыночные потребности.

36. Кто из перечисленных не является деятелем эпохи Возрождения?

- a) Пико делла Мирандола;
- b) Данте Алигьери;
- c) Фридрих Август Вольф.

37. «Грамматика Пор-Рояля» принадлежит:

- a) Пико делла Мирандоле;
- b) Данте Алигьери;
- c) Антуану Арно и Клоду Лансло;
- d) М.В. Ломоносову.

38. Представителем «новой филологии» не является:

- a) Фридрих Август Вольф;
- b) Август Бёк;
- c) Иоганн Гердер;
- d) Фридрих Шлейермахер.

39. *Филологический труд «Очерк науки о древности» принадлежит перу:*

- a) Вольфу;
- b) Бёку;
- c) Гердеру;
- d) Шлейермахеру.

40. *Первый известный культурному человечеству студент, который при поступлении на учебу в университет записал себя как Studiosus Philologiae (студент-филолог):*

- a) Фридрих Август Вольф;
- b) Август Бёк;
- c) Иоганн Гердер;
- d) Фридрих Шлейермахер.

41. *Создателем современной герменевтики как науки о понимании признается:*

- a) Фридрих Август Вольф;
- b) Август Бёк;
- c) Иоганн Гердер;
- d) Фридрих Шлейермахер.

42. *Биографический метод исследования художественных текстов в литературоведении обязан своим существованием:*

- a) Вольфу;
- b) Сент-Бёву;
- c) Гердеру;
- d) де Соссюру.

43. *Авторство идеи диалогизма как фундаментальной основы филологии принадлежит:*

- a) Л.В. Щербе;
- b) М.М. Бахтину;
- c) В-Н. Перетцу;
- d) Г. Шухардту.

44. *Дискуссия о самом факте существования филологии как самостоятельной области знания и неопределенности её терминологического значения активно велась в трудах:*

- a) Л.В. Щербы;
- b) М.М. Бахтина;
- c) В-Н. Перетца;
- d) Г. Шухардта.

4. Краткий терминологический словарь

АНАЛИЗ ДИСКУРСА (ср.: англ. discourse – ораторствовать; рассуждать; излагать в форме речи и франц. discours – речь) – научное направление, изучающее, по выражению Н.Д. Арутюновой, речь, «погруженную в жизнь».

БИБЛЕЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ (древнегреч. biblia, мн. ч. от biblion – книга). Библейская филология направлена на изучение Библии. Решение важнейшие филологические задачи, возникшие в связи с изучением библейских текстов вызвало к жизни две филологические дисциплины: **критику** (от Др.-греч. – искусство разбирать, судить) в виде библейской критики и **экзегетику** (от др.греч. exegetikos – объясняющий, толкующий). Главным вопросом, который поставила перед собой библейская критика, был вопрос об авторстве библейских текстов. Поиск ответа проходил на основе сопоставления библейских текстов и текстов мифологических, фольклорных. Экзегетика возникла в связи с исследованием поэм Гомера, впоследствии же она обратилась к изучению **сакральных текстов** (лат. sacer/sacri/ – священный, относящийся к религиозному культу, ритуалу; обрядовый). Ее задачей стал поиск единственно верного толкования библейских текстов.

БИБЛИОГРАФИЯ (др.-греч. *biblion* – книги и *grapho* – пишу) вспомогательная дисциплина, которая занимается учетом научной и печатной продукции и информацией о ней. Библиография как научная дисциплина включает библиографию лингвистическую, литературную и др.

ВОСТОЧНАЯ ФИЛОЛОГИЯ возникает в XVI–XVII вв. в Европе, когда отдельные европейские страны осуществляли колониальный захват восточных народов и территорий. В термине отражается взгляд европейцев на территорию заселения народами, язык и культура которых изучается: это Азия и Африка. Таким образом, восточная филология складывается отдельно от древнекитайской и древнеиндийской традиций. Основой восточной филологии явилось изучение языков. К изучению языков прибавилось изучение географии, этнографии, обычаев и нравов, верований, культуры и литературы, политического, военного устройства народов Востока. Восточная филология возникает и долгое время существует как наиболее широкий комплекс знаний и сведений о народах Востока. В этом комплексе соединяются знания по языкознанию, литературоведению, философии, истории, региональному религиоведению и др.

ГЕРМЕНЕВТИКА (др.-греч. hermeneutike (technē) – истолковательное искусство, изучающая способы толкования смысла. Центральные понятия герменевтики: смысл, понимание.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ – вспомогательная филологическая дисциплина, изучающая способы разыскания и систематизации источников для даль-

нейшего использования лингвистикой (лингвистическое источниковедение), литературоведением (литературное источниковедение).

ИТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (лат. inter – между) – это отношения между текстом и включенными в него уже существующими текстами (их фрагментами). Термин введен Ю. Кристевой в развитие идей М.М. Бахтина о диалогических отношениях между текстами.

КИНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (др.-греч. kinetikos – приводящий в движение): язык тела и его частей (более узко – язык жестов). Приведем один пример из его работы. О значении жеста палец у виска: в немецкой культуре – человек несколько не в себе, в некоторых африканских культурах – погрузился в размышления; во Франции: человек, о котором говорят: глупый, в Голландии, наоборот, – умный («обладает интеллектом»).

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ изучает языки, литературу, античный быт, историю, философию, искусство, культуру Древней Греции и Древнего Рима. Таким образом, она возникает и развивается как комплекс знаний об античном мире. Ее изучение требовало от человека владения целым комплексом сведений об античном мире: знания древнегреческого и латыни, истории, права, политики, военной истории, культуры, быта и многого другого. При этом одни филологи-классики сосредоточивают свое внимание преимущественно на грамматике и критике текста, другие – на истории, археологии, культуре, быте Древних Греции и Рима. Результатом деятельности филологов-классиков является подготовка древних текстов к публикации, всестороннее комментирование их, создание и публикация научных сочинений о духовной и материальной культуре древности.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ. Наиболее известен язык **эсперанто**. Он изобретен польским врачом Заменгофом во второй половине XIX в. Свое название язык получил по псевдониму изобретателя: *эсперанто* – *надеющийся*. В наше время на эсперанто издается литература, а также Интернет-газета, работает новостное радио; на одном из сайтов размещены песни на эсперанто.

МЕТОДОЛОГИЯ (др.-греч. methodos) науки, в том числе, разумеется, и филологической, – это учение об основаниях и способах действия с ее объектами. Филологический подход предполагает обращение в процессе исследования объекта и к языковой, и к литературной его стороне, и как к тексту, и к многообразным проявлениям homo loquens – как говорящего, пишущего, автора, читателя, интерпретатора и пр., что делается, как правило, в контексте времени и пространства. Филологический подход напрямую нацелен на раскрытие главного предназначения филологии в жизни человека и общества. Предназначение это, по мысли С.С. Аверинцева, состоит в том, что филология – это

служба понимания. «Как служба понимания филология помогает выполнению одной из главных человеческих задач – понять другого человека (и другую культуру, и другую эпоху)». Филологический подход предполагает учет связей между языком, текстом и *homo loquens* как объектами филологии даже при рассмотрении одного из них (в целом или в каких-то отдельных проявлениях). Тем самым предмет изучения рассматривается не в изолированном виде, а в его взаимодействиях с другими.

ПАРАЯЗЫКИ (др.-греч. приставка *para* – около). Под понятие параязыка подводятся звуковые и графические средства: тембр, темп, громкость, мелодика, особенности произношения, тип почерка, шрифта, размер буквы, цвет, подчеркивание и др. Речь идет о средствах сверхнормативных с точки зрения языка как системы, а потому факультативных.

ПОЭТИКА (др.-греч. *poietike techne* – творческое искусство). В современной филологии поэтика есть учение о том, как устроено литературное произведение, что есть творчество писателя, литературное направление. Область поэтики, внимание которой сосредоточено на языке произведения, составляет лингвистическую поэтику. Однако современная поэтика изучает не только художественно-литературные произведения, но и иные – публицистические, рекламные и др.

РИТОРИКА (др.-греч. *rhitorike*). Главная задача современной риторики – изучение речевой коммуникации в ее воздействии на читающего / слушающего посредством сообщения. Современная риторика представляет собой междисциплинарную филологическую науку, которая существует на стыке лингвистики, литературоведения, теории аргументации, философии.

РЕФОРМАЦИЯ – движение за социальное, культурное, религиозное преобразование общества, развернувшееся в XVI–XVII вв. В числе ее лозунгов было требование введения богослужения на родном для прихожан языке, перевод церковных книг на родной язык; это означает расширение социальных функций языка, актуализирует проблему перевода. Так, Томас Мюнцер (1490–1525), переводя латинские псалмы на немецкий язык, отметил, что делал это «более по смыслу, чем дословно».

РЕЦЕПТИВНАЯ ЭСТЕТИКА – направление в литературоведении и критике XX–XXI вв. (Р. Ингарден, Х.Р. Яусс, В. Изер и др.). Если текст произведения читателем не изменяется, то смысл зависит от читателя, его «диалога» с автором и текстом. Это направление опирается на идеи герменевтики, психологии, семиотики, коммуникативистики и других гуманитарных наук, сосредоточивших свои интересы на человеке.

СЕМИОТИКА (др.-греч. *semeiotiki* – учение о знаках) дисциплина, изучающая знаки и знаковые системы. Центральное понятие семиотики – знак.

СЕТЕРАТУРА – основанный на использовании письменности вид творчества, конечный продукт которого (произведение) может размещаться на несенных в пространстве узлах компьютерной сети, видоизменяться (редактироваться) во времени и быть доступным многим потребителям из разных мест одновременно.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ НАУКИ. Эти языки объединяют формулы математики, химии, лингвистики и других наук и правила их составления и использования.

СТИЛИСТИКА (фр. *stylistique*, от лат. *stilus, stylus* – остроконечная палочка для письма, манера письма). Термин «стилистика» возник в начале XIX в. в трудах немецкого ученого и писателя Новалиса (подлинное имя – Фридрих фон Харденберг). Стилистика как научная дисциплина складывается в середине XIX в., фактически «на развалинах» риторики, которая к этому времени прекращает свое существование. В изучении языка как отдельного объекта действительности у стилистики есть своя собственная задача – изучение употребления языка. Ее внимание сосредоточено на таких вопросах, как стилистические средства языка, возможности их использования в тексте вообще и в текстах разных видов, разными говорящими / слушающими. Традиционно различаются лингвистическая стилистика и литературоведческая стилистика. Вторая сосредоточивает свое внимание на речи художественного произведения как проявлении искусства слова.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ – это совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих самостоятельное создание и восприятие им художественной реальности. Понятие творческой личности покрывает творческую личность автора и творческую личность читателя. Автор и читатель являются создателями художественной реальности. Различие между ними состоит «только» в том, что один из них, автор, создает реальность оригинальную (от лат. *originalis* – первоначальный), а другой, читатель, пересоздает ее.

ТЕКСТОЛОГИЯ (лат. *textus* – связь, ткань и *logos* – слово) дисциплина, которая изучает рукописные и печатные тексты художественных, литературно-критических и публицистических произведений для их издания и интерпретации. Термин «текстология» ввел в конце 1920-х годов Б.В. Томашевский. На Западе по преимуществу используется термин «критика текста».

ТЕОРИЯ ТЕКСТА – дисциплина, которая изучает текст в семиотическом смысле. Текстом является не только последовательность языковых знаков, воплощающая смысл, но и, например, картина, город, человек и другие после-

довательности, созданные из неязыковых знаков или из сочетания знаков языковых и неязыковых, воплощающие смысл. Таковы, например, высказывания типа «Летит!» в соединении с жестом, указывающим, например, на летящий в небе самолет (означает: «Самолет летит!»). Центральное понятие теории текста – текст;

ФИЛОЛОГИЯ (греч. philologia, букв. – любовь к слову) – содружество гуманитарных дисциплин – языкознания, литературоведения, текстологии, источниковедения, палеографии и др., изучающих духовную культуру человечества через языковой и стилистический анализ письменных текстов. Текст во всей совокупности своих внутренних аспектов и внешних связей – исходная реальность филологии. (С.С. Аверенцев)

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА – дисциплина, изучающая пути и способы создания, хранения, обработки, изучения, передачи и т.п. филологической информации при помощи информационных (компьютерных) технологий.

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ – дисциплина изучающая деятельность человека по созданию и пониманию текста. Центральное понятие – коммуникативная деятельность homo loquens.

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ – это совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов). Понятие языковой личности вбирает в себя и языковую личность говорящего (пишущего) и языковую личность читающего (слушающего). Так языковая личность расщепляется с точки зрения функций, выполняемых ею в процессах коммуникации. При этом не имеет значения, что текст может остаться во внутренней речи. Важно другое: под воздействием воспринятого текста слушающий (читающий) изменяет / сохраняет свое поведение, взгляды, осуществляет / не осуществляет какие-то действия, операции, происходят изменения в его эмоциональной сфере. Характер протекания этих процессов изучается **теорией языковой личности** как одним из направлений в современной лингвистике.

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Это языки, которые предназначены для записи компьютерных программ.

НОМО LOQUENS входит в терминологический ряд, открываемый homo sapiens 'человек разумный': homo faber 'человек – создатель орудий труда', homo liber 'человек свободный', homo ludens 'человек играющий' и др. Термином homo loquens (от лат. homo – человек и loquens – разговаривающий), или русским человек говорящий, обозначается человек говорящий (пишущий), слушающий (читающий), а в широком смысле – человек, участвующий в речевой

коммуникации. В сравнении с русским термином «человек говорящий» латинский удобнее, так как он напоминает не только об одном из видов речевой деятельности – говорении.

5. Авторский указатель

БАРТ (Barthes) Ролан (1915–1980) – французский литературовед, философ, представитель структурализма и постструктурализма, семиотик.

Чем известен: «нулевая степень письма» «смерть автора»; «пустой знак».

Основные работы: «Нулевая степень письма» (1953), «Мифологии» (1957), «О Расине» (1963), «Критические очерки» (1964), «Элементы семиологии» (1964), «Критика и истина» (1966), «Система моды» (1967), «S/Z. Опыт исследования» (1970), «Империя знаков» (1970), «Сад, Фурье, Лойола» (1972).

БАХТИН Михаил Михайлович (1895–1975) – русский литературовед, философ, культуролог, теоретик европейской культуры и искусства. Исследователь языка, эпических форм повествования и жанра европейского романа. Создатель новой теории европейского романа, в том числе концепции полифонизма в литературном произведении. Исследуя художественные принципы романа Франсуа Рабле, Бахтин развил теорию универсальной народной смеховой культуры.

Чем известен: полифонизм; диалогизм; смеховая культура; хронотоп; карнавализация; мениппея.

Основные работы: «Проблемы поэтики Достоевского» (1963); «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965); «Вопросы литературы и эстетики» (1975), «Эстетика словесного творчества» (1979).

БЕРГСОН (Bergson) Анри (1859–1941) – французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни, лауреат Нобелевской премии по литературе (1927).

Чем известен: творческая эволюция; жизненный прорыв; теория памяти.

Основные работы: «Материя и память» (1896), «Смех» (1900), «Творческая эволюция» (1907), «Два источника морали и религии» (1932).

Витгенштейн (Wittgenstein) Людвиг (1889–1951) – австрийский философ и логик, представитель аналитической философии, один из крупнейших философов XX века. Выдвинул программу построения искусственного «идеального» языка, прообраз которого – язык математической логики.

Чем известен: структура языка определяет структуру мира; значение слова есть употребление в контексте языковой игры; философия обыденного языка; теория логического позитивизма.

Основные работы: «Логико-философский трактат» (1958), «Философские исследования» (1985), «Культура и ценность. О достоверности» (2010).

ВЫГОТСКИЙ Лев Семенович (1896–1934) – советский психолог, разработал культурно-историческую теорию в психологии. Автор литературоведческих публикаций, работ по педологии и когнитивному развитию ребенка. Объединил вокруг себя коллектив исследователей, известный как «круг Выготского».

Чем известен: культурно-историческая теория; учение о «высших психологических» процессах; социальная ситуация развития; зона ближайшего развития; психология искусства.

Основные работы: «Психология искусства» (1924/5), Сознание как проблема психологии поведения (1924/5), «Исторический смысл психологического кризиса» (1927), «Проблема культурного развития ребенка» (1928), «Конкретная психология человека» (1929).

ГИРШМАН Михаил Моисеевич (1937–2015) – советский литературовед, семиолог, автор работ, посвященных исследованию литературного стиля, целостности литературного произведения, ритма художественной прозы.

Чем известен: теория художественной целостности; концепция ритма прозы; Донецкая филологическая научная школа.

Основные работы: «Ритм художественной прозы» (1982); «Литературное произведение: Теория и практика анализа» (1991); «Литературное произведение: Теория художественной целостности» (1996).

ГРЕЙМАС (Greimas) Альгирдас Жюльен (1917–1992) – французский лингвист, фольклорист и литературовед. Автор трудов по теории структурной семантики и нарративному синтаксису. Развивая идеи В.Я. Проппа, принципы лингвистики Ф. де Соссюра и Л. Ельмслева, структурной антропологии К. Леви-Строса, предпринял попытку построить чисто логическую модель порождения сюжета, выявить универсальные законы повествовательных текстов, а также создать всеобъемлющую методологию гуманитарных наук на основе разработанной им «фундаментальной семантики».

Чем известен: семиотический квадрат; актантная схема; Парижская семиотическая школа.

Основные работы: «Структурная семантика» (1966); «О смысле» (1970); «Мопассан: Семиотика текста» (1976).

ГУССЕРЛЬ (Husserl) Эдмунд (1859–1938) – немецкий философ, основатель феноменологии как философского направления. Основная цель метода Г. – достигнуть строгого разграничения актов сознания, предмета в определенной смысловой данности и являющегося предмета как такового. Это базисное различие можно сравнить с различием между лучом света (сознание), освещенностью предмета (его данность) и освещаемым предметом. Последний не обязательно должен быть реальным; различие между предметом и его данностью сохраняется и в отношении воображаемого, воспоминаемого и т.п. предметов.

Чем известен: феноменологический метод; идеация; созерцание сущностей, интенциональность.

Основные работы: «Логические исследования» (1909); «Феноменология внутреннего сознания» (1994); «Картезианские размышления» (1998).

ЖЕНЕТТ (Genette) Жерар (1930–2018) – французский литературовед, один из основных представителей структурализма, один из основателей современной нарратологии, изучения интертекстуальности.

Чем известен: диегесис; фокализация; архитекст.

Основные работы: «Фигуры» (1966–2002); «Произведение искусства» (1994–1997); «Введение в архитекст» (1979).

ЛЕВИ-СТРОСС (Lévi Strauss) Клод (1908–2009) – французский этнолог, социолог, этнограф, философ и культуролог.

Чем известен: создатель собственного научного направления в этнологии – структурной антропологии и теории инцеста (одной из концепций происхождения права и государства), исследователь систем родства, мифологии и фольклора.

Основные работы: «Печальные тропики» (1955); «Структурная антропология» (1958–1973).

Лотман Юрий Михайлович (1922–1993) – русский литературовед, семиотик, культуролог.

Чем известен: создатель широко известной Тартуской семиотической школы и основатель целого направления в литературоведении.

Основные работы: «Структура художественного текста» (1970); «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» (1973), «Культура и взрыв» (1992); «Замечания о структуре повествовательного текста» (1973).

ПРОПП Владимир Яковлевич (1895–1970) – русский филолог, фольклорист.

Чем известен: положил начало структурно-типологическому изучению нарратива; является основоположником сравнительно-типологического метода в фольклористике, одним из создателей современной теории текста. Современные структуралисты считают В.Я. Проппа одним из своих предшественников.

Основные работы: «Морфология сказки» (1928); «Исторические корни волшебной сказки» (1946), «Русский героический эпос» (2006).

ТОМАШЕВСКИЙ Борис Викторович (1890–1957) – советский литературовед, теоретик стиха и текстолог, исследователь творчества А.С. Пушкина, переводчик, писатель.

Чем известен: составитель первого советского однотомника Пушкина; один из основателей отечественной текстологии. Как текстолог-новатор прини-

мал участие в академических изданиях сочинений Ф.М. Достоевского, А.Н. Островского, А.П. Чехова и др.

Основные работы: «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения» (1925); «Теория литературы. Поэтика» (1925), «Писатель и книга. Очерк текстологии» (1928).

ТЮПА Валерий Игоревич (р.1945) – российский литературовед, доктор филологических наук, профессор РГГУ.

Чем известен: «модусы художественности» и «парадигм художественности»; дискурсный анализ, историческая нарратология. Главный редактор журнала «Новый филологический вестник»; соредaktor (совместно с Вольфом Шмидом) международного русскоязычного электронного журнала «Narratorium»; участник международного проекта «Live Handbook of Narratology»; руководитель Нарратологической секции ежегодных Белых чтений (РГГУ).

Основные работы: «Нарратология как аналитика повествовательного дискурса ("Архиерей" Чехова)» (2001); «Анализ художественного текста» (2006), «Аналитика художественного: Введение в литературоведческий анализ» (2001).

УСПЕНСКИЙ Борис Андреевич (р. 1937) – российский филолог, лингвист, семиотик, историк языка и культуры. Доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией лингвосемиотических исследований НИУ ВШЭ.

ФУКО (Foucault) Поль-Мишель (1926–1984) – французский философ, теоретик культуры и историк, книги которого о безумии, социальных науках, медицине, тюрьмах и сексуальности сделали его одним из самых влиятельных мыслителей в современной французской литературе.

Чем известен: дискурс; археология знания; биополитика; веридикция; микрофизика власти; парресия; эпистема.

Основные работы: «Слова и вещи» (1966); «Археология знания» (1969), «История безумия в классическую эпоху» (1961).

ХАЙДЕГГЕР (Heidegger) Мартин (1889–1976) – немецкий философ-экзистенциалист, оказал значительное влияние на европейскую философию XX века, внес серьезный вклад в развитие феноменологии.

Чем известен: экзистенциализм; Dasein (здесь-бытие); Gestell.

Основные работы: «Бытие и время» (1927); «Письмо о гуманизме» (1946), «Введение в метафизику» (1953).

ШКЛОВСКИЙ Виктор Борисович (1893–1984) – русский литературовед, критик, теоретик литературы, прозаик, журналист, сценарист, теоретик кино.

Чем известен: формальная школа в литературоведении; понятие «остранения»; различение фабулы и сюжета, то есть собственно рассказываемой истории и конструкции этого рассказа.

Основные работы: «Искусство как прием» (1917); «О теории прозы» (1925/29), «Развертывание сюжета» (1921).

ШМИД (Schmid) Вольф (р. 1944) – немецкий филолог, русист и теоретик литературы; представитель нарратологического подхода в филологии.

Чем известен: систематизировал сведения по проблемам нарратологии.

Основные работы: «Нарратология» (2003, 2008); «Проза как поэзия. Статьи о повествовании в русской литературе» (1994), «Проза Пушкина в поэтическом прочтении: "Повести Белкина"» (1996).

ЭЙХЕНБАУМ Борис Михайлович (1886–1959) – русский литературовед, один из ключевых деятелей «формальной школы».

Чем известен: формальный метод в литературоведении; проблема «литературного быта» в текстологии; толстовед.

Основные работы: «Как сделана «Шинель»» (1922); «Сквозь литературу» (1924), «О литературе» (1987).

6. Перечень вопросов для самопроверки

1. Филология: слово – практическая деятельность – знание – наука. Основные формы филологического труда.

2. Определение филологии, данное С.С. Аверинцевым, и его место в истории филологии.

3. Современное понимание филологии.

4. Возникновение донаучной филологии: библейская филология и её значение в истории филологии.

5. Возникновение донаучной филологии: классическая филология и её значение в истории филологии.

6. Понимание филологии, предложенное Ф.-А. Вольфом, и его значение в складывании научной филологии.

7. Идеи А. Бека, Г. Германа и Ф. Шлейермахера и их роль в складывании научной филологии.

8. Языкознание, литературоведение, фольклористика как филологические науки.

9. «Новая филология» как комплекс наук. Возникновение германистики, романистики, славистики.

10. Теоретические и прикладные отрасли филологии. Палеография, археография, текстология, их задачи.

11. Интеграционные идеи в филологии первой половины XX в. Л.В. Щерба.

12. Интеграционные идеи в филологии первой половины XX в. М.М. Бахтин, В.В. Виноградов (по выбору студента).
13. Современная филология как этап развития филологии.
14. Homo Loquens как объект филологии.
15. Человек и язык: человек в языке, язык в человеке.
16. Коммуникативно-речевой акт, его структура.
17. Естественный человеческий язык как объект филологии. Значение идей В. Гумбольдта для филологии.
18. Естественный человеческий язык как объект филологии. Значение идей Ф. Соссюра для филологии.
19. Искусственные языки. Параязык.
20. Классификация семиотических систем. Их отношение к языку как объекту филологии.
21. Традиционное понимание текста, его достоинства и недостатки.
22. Текст как объект филологии. Д.С. Лихачев о сущности текста.
23. Функции текста (Ю.М. Лотман).
24. Научное исследование в области филологических наук: важнейшие понятия и логика научного исследования.
25. Научное исследование в области филологических наук: общенаучные методы исследования и их специфика в филологии.
26. Виды научных работ (монография, статья, реферат, диссертация, автореферат, научный комментарий и др.). Общая характеристика.
27. Общая библиография и методика ее использования. Энциклопедические словари, справочники в работе филолога.
28. Принципы рецензирования, составления обзора литературы, изложения истории вопроса.
29. Филология как искусство чтения и комментирования текста (Г.О. Винокур).
30. Филология как «совокупность научных принципов» (С.С. Аверинцев).
31. Статус филологии в современном мире. Филология – основа «всей человеческой культуры» (Д.С. Лихачев).
32. Филология как социальный институт. Специфика коммуникации в филологических науках.
33. Филология как совокупность гуманитарных наук, междисциплинарное (= общефилологическое) ядро знания, научный принцип.
34. Важнейшие открытия в филологии XX–XXI вв. (на материале исследований русской литературы).

РАЗДЕЛ III. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ, РЕФЕРИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

Основная литература

1. Николина, Н.А. Филологический анализ текста: учеб. пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Русский язык и литература» / Н.А. Николина. – М.: Академия, 2007. – 272 с. – (Высшее профессиональное образование).

2. Филология и коммуникативные науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / под общ. ред. А.А. Чувакина; ред.-сост. А.А. Чувакин, С.В. Доронина, И.Ю. Качесова и др. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2015. – 497 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134> (дата обращения: 04.05.2020). – ISBN 978-5-9765-1914-5.

3. Чувакин, А.А. Основы филологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Чувакин; под ред. А.И. Куляпина. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 241 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125> (дата обращения: 04.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0939-9.

Дополнительная литература

1. Аверинцев, С.С. Поэтика и истоки европейской литературной традиции / С.С. Аверинцев. – М., 1996.

2. Винокур, Г.О. Введение в изучение филологических наук / Г.О. Винокур. М., 2000.

3. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М., 1979.

4. Богин, Г.И. Филологическая герменевтика / Г.И. Богин. – Калинин, 1981.

5. Гумбольдт, В. Об изучении языков, или план систематической энциклопедии всех языков // Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985.

6. Костомаров, В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики / В.Г. Костомаров. – М., 2005.

7. Лихачев, Д.С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачев // Освобождение от догм. История русской литературы: состояние и пути изучения. – М., 1997. – Т. 1.

8. Лихачев, Д.С. Письма о добром / Д.С. Лихачев. – СПб., 1999. – С. 171-172.

9. Лихачев, Д. С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – М., 1985. – С. 195-203.

10. Лотман, Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. – СПб., 2000. – С. 250-256.

11. Радциг, С.И. Введение в классическую филологию / С.И. Радциг. – М., 1965.
12. Рождественский, Ю.В. Введение в общую филологию / Ю.В. Рождественский. – М., 1979.
13. Русская словесность: От теории словесности к структуре текста. Антология. – М., 1997.
14. Соколянский, А.А. Введение в славянскую филологию / А.А. Соколянский. – М., 2004.
15. Хазагеров, Г.Г. Введение в русскую филологию / Г.Г. Хазагеров. – Екатеринбург, 2000.
16. Чувакин, А.А. Курс основ филологии: к проблеме модернизации высшего филологического образования / А.А. Чувакин // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. – 2006. – № 2. – С. 123-134.
17. Чувакин, А.А. Основы научного исследования по филологии: учебное пособие / А.А. Чувакин, Л.А. Кощей, В.Д. Морозов. – Барнаул, 1990.
18. Щерба, Л.В. К вопросу о распространении в СССР знания иностранных языков и состоянии филологического образования // Л.В. Щерба. Избр. работы по языкознанию и фонетике. – Л., 1958. – Т. 1.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ФИЛОЛОГИИ

<...> Что такое филология и зачем ею занимаются? Слово «филология» состоит из двух греческих корней. «Филейн» означает «любить». «Логос» означает «слово», но также и «смысл»: смысл, данный в слове и неотделимый от конкретности слова. Филология занимается «смыслом» – смыслом человеческого слова и человеческой мысли, смыслом культуры, – но не нагим смыслом, как это делает философия, а смыслом, живущим внутри слова и одушевляющим слово. Филология есть искусство понимать сказанное и написанное. Поэтому в область ее непосредственных занятий входят язык и литература. Но в более широком смысле человек «говорит», «высказывается», «окликает» своих товарищей по человечеству каждым своим поступком и жестом. И в этом аспекте – как существо, создающее и использующее «говорящие» символы, – берет человека филология. Таков подход филологии к бытию, ее специальный, присущий ей подступ к проблеме человеческого. Она не должна смешивать себя с философией; ее дело – кропотливая, деловитая работа над словом, над текстом. Слово и текст должны быть для настоящей филологии существенней, чем самая блистательная «концепция».

Возвратимся к слову «филология». Поразительно, что в ее имени фигурирует корень глагола «филейн» – «любить». Это свойство своего имени филология делит только с философией («любословие» и «любомудрие»). Филология требует от человека, ею занимающегося, какой-то особой степени, или особого качества, или особого модуса любви к своему материалу. Понятно, что дело идет о некоей очень несентиментальной любви, о некоем подобии того, что Спиноза называл «интеллектуальной любовью». Но разве математикой или физикой можно заниматься без «интеллектуальной любви», очень часто перерастающей в подлинную, всепоглощающую страсть? Было бы нелепо вообразить, будто математик меньше любит число, чем филолог – слово, или, лучше сказать, будто число требует меньшей любви, нежели слово. Не меньшей, но существенно иной. Та интеллектуальная любовь, которой требует – уже самым своим именем! – филология, не выше и не ниже, не сильнее и не слабее той интеллектуальной любви, которой требуют так называемые точные науки, но в чем-то качественно от нее отличается. Чтобы уразуметь, в чем именно, нам нужно поближе приосмотреться уже не к наименованию филологии, а к ней самой. Притом мы должны отграничить ее от ложных ее подобий.

Существуют два, увы, весьма распространенных способа придавать филологии по видимости актуальное, животрепещущее, «созвучное современности» обличье. Эти два пути непохожи один на другой. Более того, они противоположны. Но в обоих случаях дело идет, по моему глубокому убеждению, о мнимой актуальности, о мнимой жизненности. Оба пути отдаляют филологию от выполнения ее истинных задач перед жизнью, перед современностью, перед людьми.

Первый путь я позволил бы себе назвать методологическим панибратством. Строгая интеллектуальная любовь подменяется более или менее сентиментальным и всегда поверхностным «сочувствием», и все наследие мировой культуры становится складом объектов такого сочувствия. Так легко извлечь из контекста исторических связей отдельное слово, отдельное изречение, отдельный человеческий «жест» и с торжеством продемонстрировать публике: смотрите, как нам это близко, как нам это «созвучно»! Все мы писали в школе сочинения: «Чем нам близок и дорог...»; так вот, важно понять, что для подлинной филологии любой человеческий материал «дорог» – в смысле интеллектуальной любви – и никакой человеческий материал не «близок» – в смысле панибратской «короткости», в смысле потери временной дистанции.

Освоить духовный мир чужой эпохи филология может лишь после того, как она честно примет к сведению отдаленность этого мира, его внутренние законы, его бытие внутри самого себя. Слов нет, всегда легко «приблизить» любую старину к современному восприятию, если принять предпосылку, будто во все времена «гуманистические» мыслители имели в принципе одинаковое понимание всех кардинальных вопросов жизни и только иногда, к несчастью, «отдавали дань времени», того-то «недопоняли» и того-то «недоучли», чем, впрочем, можно великодушно пренебречь... Но это ложная предпосылка. Когда современность познает иную, минувшую эпоху, она должна остерегаться проецировать на исторический материал себя самое, чтобы не превратить в собственном доме окна в зеркала, возвращающие ей снова ее собственный, уже знакомый облик. Долг филологии состоит в конечном счете в том, чтобы помочь современности познать себя и оказаться на уровне своих собственных задач; но с самопознанием дело обстоит не так просто даже в жизни отдельного человека. Каждый из нас не сможет найти себя, если он будет искать себя и только себя в каждом из своих собеседников и сотоварищей по жизни, если он превратит свое бытие в монолог. Для того, чтобы найти себя в нравственном смысле этого слова, нужно преодолеть себя. Чтобы найти себя в интеллектуальном смысле слова, то есть познать себя, нужно суметь забыть себя и в самом глубоком, самом серьезном смысле «присматриваться» и «прислушиваться» к другим, отрешаясь от всех готовых представлений о каждом из них и проявляя честную волю к непредвзятому пониманию. Иного пути к себе нет. Как сказал философ Генрих Якоби, «без «ты» невозможно «я» (сравни замечание в Марксовом «Капитале» о «человеке Петре», который способен познать свою человеческую сущность лишь через вглядывание в «человека Павла»), Но так же точно и эпоха сможет обрести полную ясность в осмыслении собственных задач лишь тогда, когда она не будет искать эти ситуации и эти задачи в минувших эпохах, но осознает на фоне всего, что не она, свою неповторимость. В этом ей должна помочь история, дело которой состоит в том, чтобы выяснять, «как оно, собственно, было» (выражение немецкого историка Ранке). В этом ей должна помочь филология, вникающая в чужое слово, в чужую мысль, силящаяся понять эту мысль так, как она была впервые «помыслена» (это никогда невозможно осу-

ществить до конца, но стремиться нужно к этому и только к этому). Непредвзятость – совесть филологии.

Люди, стоящие от филологии далеко, склонны усматривать «романтику» труда филолога в эмоциональной стороне дела («Ах, он просто влюблен в свою античность!..»). Верно то, что филолог должен любить свой материал – мы видели, что об этом требовании свидетельствует само имя филологии. Верно то, что перед лицом великих Духовных достижений прошлого восхищение – более по-человечески достойная реакция, чем прокурорское умничанье по поводу того, чего «не сумели учесть» несчастные старики. Но не всякая любовь годится как эмоциональная основа для филологической работы. Каждый из нас знает, что и в жизни не всякое сильное и искреннее чувство может стать основой для подлинного взаимопонимания в браке или в дружбе. Годится только такая любовь, которая включает в себя постоянную, неутомимую волю к пониманию, подтверждающую себя в каждой из возможных конкретных ситуаций. Любовь как ответственная воля к пониманию чужого – это и есть та любовь, которой требует этика филологии.

Поэтому путь приближения истории литературы к актуальной литературной критике, путь нарочитой «актуализации» материала, путь нескромно-субъективного «вчувствования» не поможет, а помешает филологии исполнить ее задачу перед современностью. При подходе к культурам прошедшего мы должны бояться соблазна ложной понятности. Чтобы по-настоящему ощутить предмет, надо на него натолкнуться и ощутить его сопротивление. Когда процесс понимания идет слишком беспрепятственно, как лошадь, которая порвала соединявшие ее с телегой постромки, есть все основания не доверять такому пониманию. Всякий из нас по жизненному опыту знает, что человек, слишком легко готовый «вчувствоваться» в наше существование, – плохой собеседник. Тем более опасно это для науки. Как часто мы встречаем «интерпретаторов», которые умеют слушать только самих себя, для которых их «концепции» важнее того, что они интерпретируют! Между тем стоит вспомнить, что само слово «интерпретатор» по своему изначальному смыслу обозначает «толмача», то есть перелагателя в некотором диалоге, изъяснителя, который обязан в каждое мгновение своей изъясняющей речи продолжать неукоснительно прислушиваться к речи изъясняемой.

Но наряду с соблазном субъективизма существует и другой, противоположный соблазн, другой ложный путь. Как и первый, он связан с потребностью представить филологию в обличье современности. Как известно, наше время постоянно ассоциируется с успехами технического разума. Сентенция Слуцкого о посрамленных лириках и торжествующих физиках – едва ли не самое застасканное из ходовых словечек последнего десятилетия. Герой эпохи – это инженер и физик, который вычисляет, который проектирует, который «строит модели». Идеал эпохи – точность математической формулы. Это приводит к мысли, что филология и прочая «гуманитария» сможет стать современной лишь при условии, что она примет формы мысли, характерные для точных наук. Филолог тоже обязывается вычислять и строить модели. Эта тенденция выявляет-

ся в наше время на самых различных уровнях – от серьезных, почти героических усилий преобразовать глубинный строй науки до маскарадной игры в математические обороты. Я хотел бы, чтобы мои сомнения в истинности этой тенденции были правильно поняты. Я менее всего намерен отрицать заслуги школы, обозначаемой обычно как «структурализм», в выработке методов, безусловно оправдывающих себя в приложении к определенным уровням филологического материала. Мне и в голову не придет дикая мысль высмеивать стиховеда, ставящего на место дилетантской приблизительности в описании стиха точную статистику. Поверять алгеброй гармонию – не выдумка человеконенавистников из компании Сальери, а закон науки. Но свести гармонию к алгебре нельзя. Точные методы – в том смысле слова «точность», в котором математику именуют «точной наукой», – возможны, строго говоря, лишь в тех вспомогательных дисциплинах филологии, которые не являются для нее специфическими. Филология, как мне представляется, никогда не станет «точной наукой»: в этом ее слабость, которая не может быть раз и навсегда устранена хитрым методологическим изобретением, но которую приходится вновь и вновь перебарывать напряжением научной воли; в этом же ее сила и гордость. В наше время часто приходится слышать споры, в которых одни требуют от филологии объективности точных наук, а другие говорят о ее «праве на субъективность». Мне кажется, что обе стороны неправы.

Филолог ни в коем случае не имеет «права на субъективность», то есть права на любование своей субъективностью, на культивирование субъективности. Но он не может оградиться от произвола надежной стеной точных методов, ему приходится встречать эту опасность лицом к лицу и преодолевать ее. Дело в том, что каждый факт истории человеческого духа есть не только такой же факт, как любой факт «естественной истории», со всеми правами и свойствами факта, но одновременно это есть некое обращение к нам, молчаливое окликавание, вопрос. Поэт или мыслитель прошедшего знают (вспомним слова Баратынского):

И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Мы – эти читатели, вступающие с автором в общение, аналогичное (хотя никоим образом не подобное) общению между современниками («...И как нашел я друга в поколеньи»). Изучая слово поэта и мысль мыслителя прошедшей эпохи, мы разбираем, рассматриваем, расчлняем это слово и эту мысль, как объект анализа; но одновременно мы позволяем помыслившему эту мысль и сказавшему это слово апеллировать к нам и быть не только объектом, но и партнером нашей умственной работы. Предмет филологии составлен не из вещей, а из слов, знаков, из символов; но если вещь только позволяет, чтобы на нее смотрели, символ и сам, в свою очередь, «смотрит» на нас. Великий немецкий поэт Рильке так обращается к посетителю музея, рассматривающему античный торс Аполлона: «Здесь нет ни единого места, которое бы тебя не видело. – Ты должен изменить свою жизнь» (речь в стихотворении идет о безголо-

вом и, стало быть, безглазом торсе: это углубляет метафору, лишая ее поверхностной наглядности).

Поэтому филология есть «строгая» наука, но не «точная» наука. Ее строгость состоит не в искусственной точности математизированного мыслительного аппарата, но в постоянном нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности человеческого понимания. Одна из главных задач человека на земле – понять другого человека, не превращая его мыслью ни в поддающуюся «исчислению» вещь, ни в отражение собственных эмоций. Эта задача стоит перед каждым отдельным человеком, но и перед всей эпохой, перед всем человечеством. Чем выше будет строгость науки филологии, тем вернее сможет она помочь выполнению этой задачи. Филология есть служба понимания.

Вот почему ею стоит заниматься. <...>

Цит. по: Юность. 1969. № 1. С. 99–101.

Д.С. ЛИХАЧЕВ. ОБ ИСКУССТВЕ СЛОВА И ФИЛОЛОГИИ

<...> Сейчас время от времени вопрос о необходимости «возвращения к филологии» поднимается вновь и вновь.

Существует ходячее представление о том, что науки, развиваясь, дифференцируются. Кажется поэтому, что разделение филологии на ряд наук, из которых главнейшие лингвистика и литературоведение, – дело неизбежное и, в сущности, хорошее. Это глубокое заблуждение.

Количество наук действительно возрастает, но появление новых идет не только за счет их дифференциации и «специализации», но и за счет возникновения связующих дисциплин. Сливаются физика и химия, образуя ряд промежуточных дисциплин, с соседними и несоседними науками вступает в связь математика, происходит «математизация» многих наук. И замечательно продвижение наших знаний о мире происходит именно в промежутках между «традиционными» науками.

Роль филологии именно связующая, а потому и особенно важная. Она связывает историческое источниковедение с языкознанием и литературоведением. Она придает широкий аспект изучению истории текста. Она соединяет литературоведение и языкознание в области изучения стиля произведения – наиболее сложной области литературоведения. По самой своей сути филология антиформалистична, ибо учит правильно понимать смысл текста, будь то исторический источник или художественный памятник. Она требует глубоких знаний не только по истории языков, но и знания реалий той или иной эпохи, эстетических представлений своего времени, истории идей и т.д.

Приведу примеры того, как важно филологическое понимание значения слов. Новое значение возникает из сочетания слов, а иногда и из их простого повторения. Вот несколько строк из стихотворения «В гостях» хорошего советского поэта, и притом простого, доступного, – Н. Рубцова.

И все торчит
В дверях торчит сосед,
Торчат за ним разбуженные тетки,
Торчат слова,
Торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет!
Опять стекло оконное в дожде,
Опять туманом тянет и ознобом.

Если бы не было в этой строфе двух последних строк, то и повторения «торчит», «торчат» не были полны смысла. Но объяснить эту магию слов может только филолог.

Дело в том, что литература – это не только искусство слова – это искусство преодоления слова, приобретения словом особой «легкости» от того, в какие сочетания входят слова. Над всеми смыслами отдельных слов в тексте, над текстом витает еще некий сверхсмысл, который и превращает текст из простой знаковой системы в систему художественную. Сочетания слов, а только они рождают в тексте ассоциации, выявляют в слове необходимые оттенки смысла, создают эмоциональность текста. Подобно тому как в танце преодолевается тяжесть человеческого тела, в живописи преодолевается однозначность цвета благодаря сочетаниям цветов, в скульптуре преодолевается косность камня, бронзы, дерева, – так и в литературе преодолеваются обычные словарные значения слова. Слово в сочетаниях приобретает такие оттенки, которых не найдешь в самых лучших исторических словарях русского языка.

Поэзия и хорошая проза ассоциативны по своей природе. И филология толкует не только значения слов, а и художественное значение всего текста. Совершенно ясно, что нельзя заниматься литературой, не будучи хоть немного лингвистом, нельзя быть текстологом, не вдаваясь в потаенный смысл текста, всего текста, а не только отдельных слов текста.

Слова в поэзии означают больше, чем они называют, «знаками» чего они являются. Эти слова всегда наличествуют в поэзии – тогда ли, когда они входят в метафору, в символ или сами ими являются, тогда ли, когда они связаны с реалиями, требующими от читателей некоторых знаний, тогда ли, когда они сопряжены с историческими ассоциациями.

<...>

Поэтому не должно представлять себе, что филология связана по преимуществу с лингвистическим пониманием текста. Понимание текста есть понимание всей стоящей за текстом жизни своей эпохи. Поэтому филология есть связь всех связей. Она нужна текстологам, источниковедам, историкам литературы и историкам науки, она нужна историкам искусства, ибо в основе каждого из искусств, в самых его «глубинных глубинах» лежат слово и связь слов. Она нужна всем, кто пользуется языком, словом; слово связано с любыми формами бытия, с любым познанием бытия: слово, а еще точнее, сочетания слов. Отсюда ясно, что филология лежит в основе не только науки, но и всей человеческой

культуры. Знание и творчество оформляются через слово, и через преодоление косности слова рождается культура. <...>

Цит. по: Лихачев Д. С. О филологии. М.: Высш. шк., 1989.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Lih/index.php

М.М. БАХТИН. ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО

Глава V

СЛОВО У ДОСТОЕВСКОГО

1. ТИПЫ ПРОЗАИЧЕСКОГО СЛОВА.

СЛОВО У ДОСТОЕВСКОГО

<...> мы имеем в виду слово, то есть язык в его конкретной и живой целостности, а не язык как специфический предмет лингвистики <...>.

Диалогические отношения <...> внелингвистичны. Но в то же время их никак нельзя оторвать от области слова, то есть от языка как конкретного целостного явления. Язык живет только в диалогическом общении пользующихся им. Диалогическое общение и есть подлинная сфера жизни языка. Вся жизнь языка, в любой области его употребления (бытовой, деловой, научной, художественной и др.), пронизана диалогическими отношениями. Но лингвистика изучает сам «язык» с его специфической логикой в его общности, как то, что делает возможным диалогическое общение, от самих же диалогических отношений лингвистика последовательно отвлекается. Отношения эти лежат в области слова, так как слово по своей природе диалогично, и поэтому должны изучаться металингвистикой, выходящей за пределы лингвистики и имеющей самостоятельный предмет и задачи.

Диалогические отношения не сводимы и к отношениям логическим и предметно-смысловым, которые сами по себе лишены диалогического момента. Они должны облечься в слово, стать высказываниями, стать выраженными в слове позициями разных субъектов, чтобы между ними могли возникнуть диалогические отношения.

«Жизнь хороша». «Жизнь не хороша». Перед нами два суждения, обладающие определенной логической формой и определенным предметно-смысловым содержанием (философские суждения о ценности жизни). Между этими суждениями есть определенное логическое отношение: одно является отрицанием другого. Но между ними нет и не может быть никаких диалогических отношений, они вовсе не спорят друг с другом (хотя они и могут дать предметный материал и логическое основание для спора). Оба этих суждения должны воплотиться, чтобы между ними или к ним могло возникнуть диалогическое отношение. Так, оба этих суждения могут, как теза и антитеза, объединиться в одном высказывании одного субъекта, выражающем его единую диалектическую позицию по данному вопросу. В этом случае диалогических отношений не возникает. Но если эти два суждения будут разделены между дву-

мя разными высказываниями двух разных субъектов, то между ними возникнут диалогические отношения.

«Жизнь хороша». «Жизнь хороша». Здесь два совершенно одинаковых суждения, по существу, следовательно, одно-единственное суждение, написанное (или произнесенное) нами два раза, но это «два» относится только к словесному воплощению, а не к самому суждению

Правда, мы можем говорить здесь и о логическом отношении тождества между двумя суждениями. Но если это суждение будет выражено в двух высказываниях двух разных субъектов, то между этими высказываниями возникнут диалогические отношения (согласия, подтверждения).

Диалогические отношения совершенно невозможны без логических и предметно-смысловых отношений, но они не сводятся к ним, а имеют свою специфику.

Логические и предметно-смысловые отношения, чтобы стать диалектическими, как мы уже сказали, должны воплотиться, то есть должны войти в другую сферу бытия: стать словом, то есть высказыванием, и получить автора, то есть творца данного высказывания, чью позицию оно выражает.

Всякое высказывание в этом смысле имеет своего автора, которого мы слышим в самом высказывании как творца его. О реальном авторе, как он существует вне высказывания, мы можем ровно ничего не знать. И формы этого реального авторства могут быть очень различны. Какое-нибудь произведение может быть продуктом коллективного труда, может создаваться преемственным трудом ряда поколений и т.п., – все равно мы слышим в нем единую творческую волю, определенную позицию, на которую можно диалогически реагировать. Диалогическая реакция персонифицирует всякое высказывание, на которое реагирует.

Диалогические отношения возможны не только между целыми (относительно) высказываниями, но диалогический подход возможен и к любой значащей части высказывания, даже к отдельному слову, если оно воспринимается не как безличное слово языка, а как знак чужой смысловой позиции, как представитель чужого высказывания, т.е. если мы слышим в нем чужой голос. Поэтому диалогические отношения могут проникать внутрь высказывания, даже внутрь отдельного слова, если в нем диалогически сталкиваются два голоса (микродиалог, о котором нам уже приходилось говорить).

С другой стороны, диалогические отношения возможны и между языковыми стилями, социальными диалектами и т.п., если только они воспринимаются как некие смысловые позиции, как своего рода языковые мировоззрения, т.е. уже не при лингвистическом их рассмотрении.

Наконец, диалогические отношения возможны и к своему собственному высказыванию в целом, к отдельным его частям и к отдельному слову в нем, если мы как-то отделяем себя от них, говорим с внутренней оговоркой, занимаем дистанцию по отношению к ним, как бы ограничиваем или раздваиваем свое авторство.

В заключение напомним, что при широком рассмотрении диалогических отношений они возможны и между другими осмысленными явлениями, если только эти явления выражены в каком-нибудь знаковом материале. Например, диалогические отношения возможны между образами других искусств. Но эти отношения выходят за пределы металингвистики.

Главным предметом нашего рассмотрения, можно сказать, главным героем его будет двуголосое слово, неизбежно рождающееся в условиях диалогического общения, т.е. в условиях подлинной жизни слова. <...>

Цит. по: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994. С. 395, 397–399.

А.К. МИХАЛЬСКАЯ. ОСНОВЫ РИТОРИКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РИТОРИКИ

<...> § 14. Теперь у нас есть некоторые основания для того, чтобы попытаться найти определение современной риторики.

Риторика – это теория и мастерство целесообразной, воздействующей гармонизирующей речи.

Проанализируем наше определение, чтобы оно стало окончательно ясным.

Мы говорим о риторике и как о теории, и как о мастерстве, так как риторическая теория возникла в древности и развивается до сих пор именно как обобщение мастерства красноречия в широком смысле этого слова, т.е. осмысление риторической практики. Немного найдется дисциплин, столь явно воплощающих классическое античное единство ремесла и искусства, мастерства и науки.

Целесообразность речи – ее соответствие цели говорящего (оратора) или, выражаясь языком современной науки, его речевому намерению. Целесообразность понимается как основное требование к Риторическому произведению, как основной закон успешной речи еще со времен Аристотеля.

Столь же неперенным свойством хорошей речи является сила ее воздействия на адресата. Риторически грамотная речь никогда и никого не оставит равнодушным – она пробудит ум и чувства, ratio и intuition, склонит слушателя сперва прислушаться, благосклонно и заинтересованно, а затем заставит всей душой принять ту картину мира, которую предложит ему говорящий. Такая речь способна не только побудить к согласию или исторгнуть слезы, но и подвигнуть людей на активные действия, а иногда и заставить полностью изменить образ жизни и мировосприятие.

И целесообразность речи, и способность ее воздействовать на слушателя определяются умением строить и вести речь по законам адресата, в соответствии с особенностями аудитории, с законами восприятия. Риторика, равно и древняя, и современная, относится к адресату с постоянным пристальным вни-

манием. Риторически грамотная (целесообразная, воздействующая) речь должна быть скроена по мерке адресата, как платье по мерке заказчика, иначе успешной она не будет. Значит, из двух главных участников общения (говорящий и слушающий) определяющая роль, как это ни парадоксально, принадлежит второму. Каждому ясно, что с первоклассником и министром просвещения по-разному надо говорить о проблемах образования, однако на практике мы видим часто иное. У нас сейчас редки ораторы, которые хотя бы относительно верно могли оценить аудиторию для эффективного воздействия на нее, и столь же немногие умеют вести себя верно в беседе, руководствуясь правильным представлением о собеседнике, понимая его особенности и потребности, ориентируясь на него. Фактически утрачена связь говорящего с теми, к кому обращена речь.

Целесообразная и воздействующая речь – это речь эффективная. Ясно, что для нашего определения риторики важно понять, что такое эффективность речи и речевого общения.

До последнего времени, опираясь на теорию информации и теорию коммуникации, специалисты по речевому общению склонны были считать эффективным (успешным) такое общение, при котором потери информации в процессе ее передачи от говорящего к слушателю минимальны. Вернемся к оценке эффективности речевого общения (50% без специальной подготовки): эта оценка сделана именно на основании информационного подхода. Итак, получается, что чем меньше помех и потерь при передаче информации, тем успешнее общение, выше эффективность речи. Чтобы учесть, что человек все же отличается чем-то от компьютера, что у него есть чувства и эмоции, что он всегда оценивает действительность, стали различать три типа информации, передаваемой речью: понятийно-логическую, оценочную (+ или -), эмоциональную. Выходит, что если слушатель верно «расшифровал» информацию всех трех типов, присутствующую в сообщении говорящего, то общение между ними успешно (эффективно), а речь, соответственно, эффективна в том случае, если хорошо обеспечивает правильную расшифровку.

Рассмотрим, однако, следующую ситуацию, которая, несмотря на давность, легко узнаваема и сегодня.

Молодой человек лет двадцати трех-четыре, жиденький, бледный, с белокурыми волосами и в довольно узком черном фраке, робко и смешавшись, явился на сцену.

«Здравствуйте, почтеннейший! – сказал генерал, благосклонно улыбаясь и не вставая с места. – Мой доктор очень хорошо отзывается об вас; я надеюсь, мы будем друг другом довольны. Эй, Васька! (при этом он свистнул). Что ж ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, так и не надо... Прошу покорно. У меня, почтеннейший, сын-с; мальчик добрый, со способностями, хочу его в военную школу приготовить. Скажу вам откровенно, мне не нужно, чтоб из моего сына вышел магистер или философ; однако, почтеннейший, я хоть и слава Богу, но две тысячи пятьсот рублей платить даром не стану...» Молодой человек все это время молчал, краснел, перебирал носовой платок и собирался что-то сказать...

он чувствовал, что вся его [генерала] речь вместе делает ощущение, похожее на то, когда рукой ведешь по моржовой коже против шерсти (Герцен А.И. Кто виноват?).

В этой речевой ситуации вся информация, передаваемая говорящим адресату, расшифрована последним полностью – и понятийная, и оценочная, и эмоциональная. Однако общее ощущение от этой речи, появляющееся у слушателя – учителя, никак не дает возможности назвать результат общения успешным, а саму речь – эффективной, скорее напротив.

Современная риторика, отражая наиболее актуальную проблему Речевого общения в современном мире – проблему обеспечения Наилучшего взаимопонимания между людьми, конструктивного решения возникающих конфликтов прежде всего решает задачу объединения участников общения. Поэтому как неременное требование к успешной речи сегодня вводится еще одно условие – гармонизация отношений говорящего и адресата. Гармонизирующая речь – это, возможно, речь будущего; в настоящем она представляет собой скорее идеал, к которому нужно стремиться, но идеал вполне осознанный и реально значимый. Потому в наше определение риторики мы и включаем это насущное для всех нас сегодня понятие – понятие гармонии. Особенно важно, что гармонизирующая речь – это риторический идеал, сложившийся в истории отечественной культуры, характерный для русской речевой традиции (подробнее об этом речь пойдет ниже).

Итак, современная риторика – это теория и мастерство эффективной (целесообразной, воздействующей, гармонизирующей) речи.

Цит. по: Михальская А.К. Введение // Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. М., 1996. С. 32–34.

М.Ю. СИДОРОВА.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БАНАЛЬНОСТЬ РУССКОГО ИНТЕРНЕТА

<...> Никто не приходит в Интернет в двухмесячном возрасте и не погружается в виртуальный мир настолько, чтобы полностью утратить нужду в мире реальном и контакт с этим окружающим миром (речь не идет об отдельных психологических случаях, не являющихся предметом нашей науки). Усваивая новые речевые навыки, необходимые для общения в сетевом пространстве, человек «накладывает» их на уже имеющиеся навыки внесетевого общения. Модели коммуникации, опосредованной и не опосредованной компьютером, начинают взаимодействовать в его сознании. Проникновение особенностей сетевой речи во внеинтернетовские письменные и устные тексты (например, использование смайликов в школьных сочинениях, на которое жалуются учителя) сразу привлекает внимание потому, что это проникновение спорадическое: отдельный инородный элемент, отступление от нормы резко выделяется на фоне жанрового или стилового стандарта. Именно поэтому первые лингвистические исследо-

вания Рунета фокусируются на том новом, что возникло в русской речи в сетевом пространстве. Обратное влияние – отражение в компьютерной коммуникации языковых явлений, существовавших и существующих до и помимо Интернета гораздо более объемно, оно само собой разумеется и в результате хуже описано. А ведь даже причина широкого распространения таких жанров межличностной коммуникации, как форумы и чаты, лежит не только в удобстве электронной формы общения, но и в укорененности этих жанров в досетевом языковом сознании, в наличии у русских людей потребности в разнообразных формах свободной, неформальной дискуссии, беседы, болтовни и в существовании в русском языке широкого диапазона средств, обеспечивающих эти жанры (разнообразные средства авторизации и адресации, выражения оценки, аргументации, побуждения, извинения и т.п.).

Отсюда должна вытекать идеология Интернет-русистики. Обращая внимание на то новое, что появилось в русской межличностной, политической, деловой, научной коммуникации, в нашей современной литературе с развитием компьютерных сетей, мы всегда будем помнить, что русский язык в Интернете – это лишь одна из форм существования русского языка, имеющего тысячелетнюю историю, уходящую в глубь веков письменную и литературную традицию, сложившуюся в течение столетий языковую систему и систему текстовых жанров. Потому и возможно научное изучение этой сферы русской речи, что у нас есть представление о языковых нормах, о стилистических характеристиках языковых единиц, об общих свойствах каждого уровня системы русского языка. Нет особого «языка Интернета» как некоторой формы реализации русской языковой системы, разновидности русского языка, обязательной для использования в мировой сети. В одних зонах и жанрах Интернета преобладает литературная кодифицированная речь, в других – внелитературная (жаргон, просторечие, антиорфография и т.п.), в одних коммуникация осуществляется по законам письменной речи, в других – по законам речи устной, но «переданной на письме». В одних текстах Интернета превалируют черты книжной речи, в других – языковые приметы Разговорности, одни ориентированы на спонтанность, другие – на обработанность текста. Для пользования некоторыми жанрами и общения на некоторых территориях сети предполагается владение всей стилистической шкалой русского языка (высокий – нейтральный – сниженный стиль), для того чтобы уютно себя чувствовать в прочих жанрах и уголках Рунета пользователю достаточно языковых средств сниженной стилистической окраски, в которых утопают элементы нейтрального стиля. Есть в Мировой Паутине и монолог, и диалог. Наконец, в Интернете представлены все традиционно выделяемые функциональные стили. И все перечисленные признаки: литературность (кодифицированность) / нелитературность, устность / письменность, монологичность / диалогичность, стилистическая ограниченность / стилистическая нейтральность, обработанность / спонтанность и др. – модифицированы сетевой формой осуществления речевой деятельности и существования языкового материала (текстов). Потому и возник на Западе термин «общение, опосредованное компьютером», гораздо лучше отражающий суть явления, чем пресловутый «язык Интернета». На весьма большом пространстве Рунета носитель

русского языка может прекрасно существовать и решать свои коммуникативные задачи, не выходя за границы письменного литературного языка в его традиционном облике, не прибегая ни к каким специфическим знаковым ресурсам Интернета (ни к сетевому жаргону, ни к смайликам и другим графическим элементам, ни к сокращениям слов и т.п.). Другое дело, если носитель языка отправляется на территорию общения, заведомо чуждую нормам литературной речи и исповедующую иное отношение к языку (установку на неважность орфографии, приоритет сетевых традиций и правил над общезыковыми, упрощенность общения и словесного выражения). Но и здесь речь идет не об использовании какого-то иного, особого Интернет-языка, а просто:

а) об иных фильтрах, которые применяются к реализованным и потенциальным возможностям русской языковой системы для отбора «подходящих» для данной сферы общения элементов, о снятии и добавлении определенных ограничений и разрешений на использование того или иного элемента плюс;

б) о добавлении некоторых созданных компьютерной и сетевой формой способов выражения.

Виртуальное пространство, в котором происходит сетевое общение, создано человеком для себя, по человеческой мерке, ограничено пределами человеческого воображения и возможностей. А значит, глубинного противоречия между техническими новшествами «постгутенберговской эпохи» и особенностями языка и коммуникации, которые сложились до нее, нет.

Сегодня мы знаем о постгутенберговском человеке больше, чем в конце прошлого века, но по-прежнему недостаточно. Нестабильность междисциплинарных связей (прежде всего между лингвистикой и психологией) – одна из причин этого. Еще меньше знаем мы о русском постгутенберговском человеке: большая часть информации, которую можно извлечь из работ отечественных исследователей Интернета – нелингвистов, есть проекция на Рунет данных, полученных зарубежными коллегами при изучении англоязычной сети, и выводов, сделанных на основе этих данных. Выпадающие при этом из поля зрения такие языковые «частности», как разграничение в русском языке форм «ты» и «Вы» при обращении ко второму лицу, противопоставление по роду, выражаемое окончаниями глаголов в прошедшем времени и прилагательных, или, например, традиционная особая маркированность нецензурных, непечатных слов, не просто должны, как мы покажем далее, учитываться при перенесении интерпретаций англоязычного Интернета на Рунет, но и заставляют нас в некоторых случаях ограничить и существенно пересмотреть эти интерпретации.

Одна очевидная иллюстрация. Общим местом в рассуждениях специалистов по Интернет-коммуникации является постулирование анонимности общения в Интернете как источника неограниченных возможностей конструирования виртуального образа коммуниканта: «Анонимность общения в Интернете обогащает возможности самопрезентации человека, предоставляя ему возможность не просто создавать о себе впечатление по своему выбору, но и быть тем, кем он захочет, т.е. особенности коммуникации в Интернете позволяют человеку конструировать свою идентичность по своему выбору» (А.Е. Жичкина. Социально-психологические аспекты общения в Интернете, 1999). В самом деле,

Интернет-коммуниканту, желающему в виртуальном пространстве жить под маской лица противоположного пола, чем его / ее реальный пол, на каком бы языке он / она ни писали, доступны языковые средства, позволяющие создать виртуальный образ, соответствующий тому или иному тендерному стереотипу. Но эти средства варьируются от языка к языку. Носителю английского языка гораздо проще осуществлять gender swap (виртуальную перемену пола) уже в СИЛУ того, что у него есть возможность строить тексты в прошедшем времени, не задумываясь о «предательских» окончаниях глаголов, которые часто выдают невнимательных русскоязычных Интернет-коммуникантов; писать о себе, не обращая внимания на форму прилагательного. Зато на почве русского языка открываются гораздо большие возможности изощренных тендерных мистификаций. Известны даже попытки делать записи в Интернет-дневнике «от среднего рода»: я было радо, я потянулось, я сносило это гордо и терпеливо и т.п. <...>

Цит. по: Филология и человек. 2006. №° 1. С. 76–79.

Л.В. ЩЕРБА.

ОПЫТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ «СОСНА» ЛЕРМОНТОВА В СРАВНЕНИИ С ЕЕ НЕМЕЦКИМ ПРОТОТИПОМ

Целью и этого опыта толкования стихотворений является показ тех лингвистических средств, посредством которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений. Что лингвисты должны уметь приводить к сознанию все эти средства, в этом не может быть никакого сомнения. Но это должны уметь делать и литературоведы, так как не могут же они довольствоваться интуицией и рассуждать об идеях, которые они, может быть, неправильно вычитали из текста. Само собой разумеется, что одного узколингвистического образования недостаточно для понимания литературных произведений: эти последние возникают в определённой социальной среде, в определённой исторической обстановке и имеют своих сверстников и предшественников, в свете которых они, конечно, только и могут быть поняты. Но плох и тот лингвист, который не разбирается в этих вопросах. <...>

В дальнейшем, путём подробного лингвистического анализа, я постараюсь показать, что лермонтовское стихотворение является хотя и прекрасной, но совершенно самостоятельной пьесой, очень далёкой от своего quasi-оригинала.

Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Hoh!
Ihn schlafert, mit weisser Decke
Umhiillen ihn Eis und Schnee.
Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgenland
Ejnsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горячем
Прекрасная пальма растёт.

Fichtenbaum, что значит «пихта», Лермонтов передал словом сосна. В этом нет ничего удивительного, так как в русско-немецкой словарной традиции Fichte и до сих пор переводится через сосна, так же как и слово Kiefer, и обратно – пихта и сосна переводятся через Fichte, Fichtenbaum (ср. «Российский с немецким и французским переводами, словарь» Нордстета, 1780–82 гг.).

В самой Германии слово Fichte во многих местностях употребляется в смысле «сосна», и, по всей вероятности, Гейне под Fichtenbaum понимал именно «сосну». Для образа, созданного Лермонтовым, сосна, как мы увидим дальше, не совсем годится, между тем как для Гейне ботаническая порода дерева совершенно неважна, что доказывается, между прочим, тем, что другие русские переводчики перевели Fichtenbaum кедром (Тютчев, Фет, Майков), а другие даже дубом (Вейнберг). Зато совершенно очевидно уже из этих переводов, что мужеский род (Fichtenbaum, а не Fichte) не случаен / 3 / и что в своём противоположении женскому роду Palme он создаст образ мужской неудовлетворённой любви к далёкой, а потому недоступной женщине. Лермонтов женским родом сосны отнял у образа всю его любовную устремлённость и превратил сильную мужскую любовь в прекраснотушны мечт. В связи с этим стоят и почти все прочие отступления русского перевода.

По-немецки психологическим и грамматическим подлежащим является стоящее на первом месте Fichtenbaum, которое, таким образом, и является героем пьесы. По-русски сосна сделана психологическим сказуемым и, стоя на конце фразы, как бы отвечает на вопрос: «Кто стоит одиноко?» Ответ малосодержательный, так как ничего не разъясняет нам / 4 /; но сейчас для нас это и неважно – важно только подчеркнуть, что у Лермонтова сосна лишена той действительной индивидуальности, которую она имеет в немецком оригинале как подлежащее. <...>

Из проделанного лингвистического анализа следует совершенно недвусмысленно, что сущность стихотворения Гейне сводится к тому, что некий мужчина, скованный по рукам и по ногам внешними обстоятельствами, стремится к недоступной для него и тоже находящейся в тяжёлом заточении женщине, а сущность стихотворения Лермонтова – к тому, что некое одинокое существо благодушно мечтает о каком-то далёком, прекрасном и тоже одиноком существе. <...>

1. См. «Русская речь», I, изд. Фонетического ин-та, 1923, где помещен первый опыт – «Воспоминание» Пушкина.

2. В основе настоящей статьи лежит доклад, сделанный мною впервые в иностранной секции Общества изучения и преподавания языка и словесности в 1926 г.

3. На это мимоходом обратил внимание Потебня («Из записок по теории словесности», 1905, с. 69) и более подробно, хотя, по-моему, не очень удачно, Берлин («Сочинения М.Ю. Лермонтова», ч. 1, 1912, с. 132) (очень интересное с педагогической точки зрения издание избранных сочинений Лермонтова с подробными комментариями и объяснениями, к сожалению забытое и, к еще большему сожалению, не нашедшее подражателей).

4. Нужно, впрочем, сказать, что отсутствие в русском языке неопределенного члена делает невозможным сделать из сосны индивидуальность, которая нужна для образа: «Сосна стоит одиноко на голой вершине» нельзя сказать, так как это значило бы, что сосна растёт одиноко на голых вершинах; сказать «некая сосна» нельзя, так как это говорит несколько больше, чем даже немецкий текст, и стилистически не подходит. Лучше всего было бы сказать «одна сосна», как мы говорим: «один доктор рассказывал нам», «одна старушка, живущая в этом доме, приходит к нам» и т.п. Однако всё же «одна сосна» звучит несколько двусмысленно ввиду непривычности индивидуализации неодушевлённых предметов: «один стол стоял в комнате» может значить только, что в комнате, кроме стола, ничего не было.

*Цит. по: Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку.
М., 1957. С. 97, 98–99, 104*

Р. БАРТ. ПРЕДИСЛОВИЕ К «СЛОВАРЮ АШЕТТ»

Что может быть благоразумнее, чем словарь? Он информирует, дает сведения, даже учит, если взять на себя труд его читать, а не только заглядывать в него для справок; без долгих речей, без пустой риторики он строго, демократично, каждому желающему выдает знание. И однако же эта крепко сбитая, даже в чем-то упрощенная вещь (если учесть, из какого сложнейшего сплетения фактов, понятий, материй состоит мир) молчаливо ставит перед нами (нет ничего менее болтливого, чем словарь) важнейшие, острейшие, быть может даже самые головокружительные проблемы, которые дано знать и обсуждать человеческому уму.

Первая из них связана с бесконечностью слов в языке. Никто не знает, из скольких слов состоит французский язык. Язык меняется с каждой минутой, в каждом новом месте, по ходу произнесения бесчисленных новых речей; иногда такое новое слово (или даже не новое, а просто «перевернутое» старое) разносится, распространяется, «приживается», его можно уловить и ввести в словарь (возможно, впрочем, что оно оттуда скоро исчезнет). Словарь непрерывно борется с временем и пространством (социальным, региональным, культурным), но всякий раз терпит поражение; жизнь всегда шире и быстрее, она берет верх – не над языком, а над его кодификацией. Поэтому требуются все новые и новые словари. Поэтому также при создании каждого нового словаря вновь возникает идея «главного»: коль скоро все множество слов необъятно, зафиксируем какой-нибудь релевантный уровень (в зависимости от специальности словаря или читательской аудитории), который избавит нас от тревожной бесконечности и позволит создать словарь законченный в силу отборности своего словника; возможность работать с ним – великое облегчение; но не будем обманываться – он составляет лишь небольшую надводную часть айсберга. Во всяком случае, зная это, мы можем разглядеть в скромном предмете, который многие считают

лишь простым справочным инструментом, главную загадку вселенной – ее бесконечность или, пользуясь не столь метафизическим словом, ее неуловимость.

Теперь второй источник головокружения. Мы собрали слова, дали им дефиниции – получается словарь. Мы собрали вещи (разумеется, обладающие именами), дали им описание – получается энциклопедия. Иногда, как в настоящем словаре, обе операции сочетаются вместе, получается словарь слов и вещей, энциклопедический словарь. Хотя взаимодополнительность обеих операций – нормативной (определить употребление слов) и дескриптивной (описать особенности вещей) – ощущалась у нас уже начиная с XVII века, подобных словарей-энциклопедий как будто немного. Это довольно парадоксальный факт: ведь на самом деле – и здесь открывается сложнейший философский спор – каждое слово влечет за собой вещь или целое скопище вещей, но также и каждая вещь может существовать для людей лишь будучи покрыта, освящена, признана некоторым словом. Слова отсылают к вещам? Да, но одновременно также и к другим словам. Поэтому разделение слов и вещей как двух обособленных и иерархически соотнесенных уровней является историческим явлением, что показал М. Фуко. Это разделение означает, что мы встаем на позицию реализма, который признает вещь в себе, вне говорящего о ней субъекта, а из слова делает простой инструмент коммуникации; такому воззрению в средние века противилась номиналистская традиция, побежденная, как известно, духом новоевропейской культуры. Со времен победы реализма мы полагаем, что, с одной стороны, говорим, а с другой – изготавливаем вещи; с одной стороны, что-то производим, украшаем и идеализируем, а с другой – что-то строим, производим, продаем, присваиваем; по одну сторону – искусство (слова), по другую – наука (факты). Хотя словарь сам является историческим продуктом такого буржуазного рассудка, но если приглядеться, то он его расшатывает: ведь для того чтобы описать вещь, перейти от слова к вещи, требуются другие слова, и так до бесконечности. Загляните хотя бы в настоящий словарь: что такое «лицо»? Часть черепа. Но что такое «часть», «череп»? По какому праву вы останавливаетесь здесь, а не идете дальше? Где кончаются слова? Что находится за ними? Язык – не только привилегия человека, но и его тюрьма. Об этом и напоминает нам словарь.

Наконец, третье удивительное свойство этой скромной, как считает, вещи: словарь выходит за рамки своей инструментальности. Мы полагаем, что он – необходимое орудие познания, и это правда; но он также и машина, производящая грезы; порождая сам себя, от слева к слову, он в конечном счете сливается с нашей способностью воображения. На словарной странице – или на нескольких страницах, которые все время так хочется листать, – перед нашим сознанием или зрением (если есть иллюстрации) проходят сильнейшие проводники грез: материки, люди, эпохи, орудия, всевозможные явления Природы и общества. Драгоценный парадокс: словарь одновременно и позволяет нам осваиваться, привыкать, и заставляет блуждать среди незнакомого; он и укрепляет знание, и дает толчок воображению. Каждое слово – словно корабль: поначалу оно кажется закрытым, плотно запертым в своей точно пригнанной арма-

туре; но очень легко оно само собой пускается в плавание, устремляется к другим словам, другим образам, другим желаниям; так получается, что словарь наделен поэтической функцией. Малларме и Франсис Понж приписывали ему утонченную творческую силу. Поэтическое воображение всегда отличается четкостью, и в четкости словаря – источник той радости, с какой читают его поэты и зачастую дети.

К этим философским и поэтическим функциям следует прибавить ту ярчайшую роль, которую играет словарь в рамках исторически определенного общества, где мы живем. Во Франции словарь в разных своих формах был участником крупнейших идейных битв. Родившись в XVI веке, т.е. на заре нового времени, он динамично, зачастую пристрастно следовал тем завоеваниям, которых добивался дух объективности, а стало быть и терпимости; опосредующая инстанция общедоступного знания, он принимал участие в образовании демократической познавательной практики. Ныне, однако, встает новый вопрос. Распространение знаний зависит теперь не только от книг (а значит, и словарей), но также (главным образом?) от так называемых масс-медиа; а поскольку оно носит характер массовый, подвижный и неустойчивый (ибо осуществляется посредством речи, а не письма), то знание приобретает некую ложную естественность; мы не столько говорим, сколько слушаем, незаметно пропитываемся услышанным, переходим от одной приблизительной идеи к другой, ничего не подвергая проверке; слова становятся бессознательными мифами, поступая на службу к той мягкой (поскольку анонимной) власти, какой обладают ныне пресса, радио, телевидение; нам говорят все больше и больше, мы же говорим все хуже и хуже. Словарь призывает нас к порядку. Он говорит нам, что настоящее общение, честный обмен мнениями возможны лишь при строгом использовании тонких нюансов языка. Иногда я слышу, как некоего автора упрекают в том, что он пишет на «специальном жаргоне»; мне хочется ответить таким людям словами Валери: «Вы что, из тех людей, для кого не существует словарь?» Словарь напоминает нам, что язык не дан нам раз навсегда от рождения; что никто сам по себе не является образцом ясности; что доброкачественное общение не может быть плодом словесной вялости; одним словом, что каждый из нас должен бороться с языком, что эта борьба длится непрестанно, что для нее нужно оружие (такое, как словарь), – настолько обширен, могуч и хитер наш язык. То, что словари упорно живут и обновляются, что их создают и изготавливают с величайшей заботой, – все это говорит о том, что они заключают в себе какой-то обет перед обществом: раз уж конфликты между людьми неизбежны (как нас в том уверяют), то пусть хотя бы они никогда не вспыхивают из-за словесных недоразумений. Слова, увы, не бывают ни правдивы, ни ложны, ибо язык не властен доказывать собственную истинность; но они могут быть верными, как ноты, – и вот к такой музыке языковых отношений и призывает нас хороший словарь.

*Цит. по: Барт Р. Система моды.
Статьи по семиотике культуры.
М., 2003. С. 500–503.*

**М.М. БАХТИН. АВТОР И ГЕРОЙ.
К ФИЛОСОФСКИМ ОСНОВАМ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК**

**II. ВЫСКАЗЫВАНИЕ КАК ЕДИНИЦА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ.
ОТЛИЧИЕ ЭТОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА
(СЛОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ)**

<...> Терминологическая неопределенность и путаница в таком методологически центральном узловом пункте лингвистического мышления являются результатом игнорирования реальной единицы речевого общения – высказывания. Ведь речь может существовать в действительности только в форме конкретных высказываний отдельных говорящих людей, субъектов (этой) речи. Речь всегда отлита в форму высказывания, принадлежащего определенному речевому субъекту, и вне этой формы существовать не может. Как ни различны высказывания по своему объему, по своему содержанию, по своему композиционному построению, они обладают как единицы речевого общения общими структурными особенностями, и прежде всего совершенно четкими границами. На этих границах, имеющих особо существенный и принципиальный характер, необходимо подробно остановиться.

Границы каждого конкретного высказывания как единицы речевого общения определяются сменой речевых субъектов, то есть сменой говорящих. Ведь речевое общение – это «обмен мыслями» во всех областях человеческой деятельности и быта. Всякое высказывание – от короткой (однословной) реплики бытового диалога и до большого романа или научного трактата – имеет, так сказать, абсолютное начало и абсолютный конец: до его начала – высказывания других, после его окончания – ответные высказывания других (или хотя бы молчаливое активно-ответное понимание другого, или, наконец, ответное действие, основанное на таком понимании). Говорящий кончает свое высказывание, чтобы передать слово другому или дать место его активно-ответному пониманию. Высказывание – это не условная единица, а единица реальная, четко отграниченная сменой речевых субъектов, кончающаяся передачей слова другому, как бы молчаливым «dixi», ощущаемым слушателями [как знак], что говорящий кончил. <...>

Переходим ко второй особенности его, неразрывно связанной с первой. Эта вторая особенность – специфическая завершенность высказывания.

Завершенность высказывания – это как бы внутренняя сторона смены речевых субъектов: эта смена потому и может состояться, что говорящий сказал (или написал) все, что он в данный момент или при данных условиях хотел сказать. Слушая или читая, мы явственно ощущаем конец высказывания, как бы слышим заключительное «dixi» говорящего. Эта завершенность – специфическая и определяется особыми критериями. Первый и важнейший критерий завершенности высказывания – это возможность ответить на него, точнее и шире – занять в отношении его ответную позицию (например, выполнить приказание). Этому критерию отвечает и короткий бытовой вопрос, например «Который час?» (на него можно ответить), и бытовая просьба, которую можно выполнить

или не выполнить, и научное выступление, с которым можно согласиться или не согласиться (полностью или частично), и художественный роман, который можно оценить в его целом. Какая-то завершенность необходима, чтобы на высказывание ложно было реагировать. Для этого мало, чтобы высказывание было понятно в языковом отношении. Совершенно понятное и законченное предложение, если это предложение, а не высказывание, состоящее из одного предложения, не может вызвать ответной реакции: это понятно, но это еще не все. Это «все» – признак целостности высказывания – не поддается ни грамматическому, ни отвлеченно-смысловому определению.

Эта завершенная целостность высказывания, обеспечивающая возможность ответа (или ответного понимания), определяется тремя моментами (или факторами), неразрывно связанными в органическом целом высказывания: 1) предметно-смысловой исчерпанностью; 2) речевым замыслом или речевой волей говорящего; 3) типическими композиционно-жанровыми формами завершения.

Первый момент – предметно-смысловая исчерпанность темы высказывания – глубоко различен в разных сферах речевого общения. Эта исчерпанность может быть почти предельно полной в некоторых сферах быта (вопросы чисто фактического характера и такие [же] фактические ответы на них, просьбы, приказания и т.п.), некоторых деловых сферах, в области военных и производственных команд и приказов, то есть в тех сферах, где речевые жанры носят максимально стандартный характер и где творческий момент почти вовсе отсутствует. В творческих сферах (особенно, конечно, в научной), напротив, возможна лишь очень относительная предметно-смысловая исчерпанность; здесь можно говорить только о некотором минимуме завершения, позволяющем занять ответную позицию. Объективно предмет неисчерпаем, но, становясь темой высказывания (например, научной работы), он получает относительную завершенность в определенных условиях, при данном положении вопроса, на данном материале, при данных, поставленных автором целях, то есть уже в пределах определенного авторского замысла. Таким образом, мы неизбежно оказываемся перед вторым моментом, который с первым неразрывно связан.

В каждом высказывании – от однословной бытовой реплики до больших, сложных произведений науки или литературы – мы охватываем, понимаем, ощущаем речевой замысел или речевую волю говорящего, определяющую целое высказывания, его объем и его границы. Мы представляем себе, что хочет сказать говорящий, и этим речевым замыслом, этой речевой волей (как мы ее понимаем) мы и измеряем завершенность высказывания. Этот замысел определяет как самый выбор предмета (в определенных условиях речевого общения, в необходимой связи с предшествующими высказываниями), так и границы и его предметно-смысловую исчерпанность. Он определяет, конечно, и выбор той жанровой формы, в которой будет строиться высказывание (это уже третий момент, к которому мы обратимся дальше). Этот замысел – субъективный момент высказывания – сочетается в неразрывное единство с объективной предметно-смысловой стороной его, ограничивая эту последнюю, связывая ее с

конкретной (единичной) ситуацией речевого общения, со всеми индивидуальными обстоятельствами его, с персональными участниками его, с предшествующими их выступлениями – высказываниями. Поэтому непосредственные участники общения, ориентирующиеся в ситуации и в предшествующих высказываниях, легко и быстро охватывают речевой замысел, речевую волю говорящего и с самого начала речи ощущают развертывающееся целое высказывания.

Переходим к третьему и самому важному для нас моменту – к устойчивым жанровым формам высказывания. Речевая воля говорящего осуществляется прежде всего в выборе определенного речевого жанра. Этот выбор определяется спецификой данной сферы речевого общения, предметно-смысловыми (тематическими) соображениями, конкретной ситуацией речевого общения, персональным составом его участников и т.п. И дальше речевой замысел говорящего со всей его индивидуальностью и субъективностью применяется и приспособляется к избранному жанру, складывается и развивается в определенной жанровой форме. Такие жанры существуют прежде всего во всех многообразнейших сферах устного бытового общения, в том числе и самого фамильярного и самого интимного.

Мы говорим только определенными речевыми жанрами, т.е. все наши высказывания обладают определенными и относительно устойчивыми типическими формами построения целого. Мы обладаем богатым репертуаром устных (и письменных) речевых жанров. Практически мы уверенно и умело пользуемся ими, но теоретически мы можем и вовсе не знать об их существовании. Подобно мольеровскому Журдену, который, говоря прозой, не подозревал об этом, мы говорим разнообразными жанрами, не подозревая об их существовании. Даже в самой свободной и непринужденной беседе мы отливаем нашу речь по определенным жанровым формам, иногда штампованным и шаблонным, иногда более гибким, пластичным и творческим (творческими жанрами располагает и бытовое общение). Эти речевые жанры даны нам почти так же, как нам дан родной язык, которым мы свободно владеем и [без] теоретического изучения грамматики. Родной язык – его словарный состав и грамматический строй – мы узнаем не из словарей и грамматик, а из конкретных высказываний, которые мы слышим и которые мы сами воспроизводим в живом речевом общении с окружающими нас людьми. Формы языка мы усваиваем только в формах высказываний и вместе с этими формами. Формы языка и типические формы высказываний, т.е. речевые жанры, приходят в наш опыт и в наше сознание вместе и в тесной связи друг с другом. Научиться говорить – значит научиться строить высказывания (потому что говорим мы высказываниями, а не отдельными предложениями и, уж конечно, не отдельными словами). Речевые жанры организуют нашу речь почти так же, как ее организуют грамматические формы (синтаксические). Мы научаемся отливать нашу речь в жанровые формы, и, слыша чужую речь, мы уже с первых слов угадываем ее жанр, предугадываем определенный объем (то есть приблизительную длину речевого целого), определенное композиционное построение, предвидим конец, т.е. с самого начала мы обладаем ощущением речевого целого, которое затем только дифференци-

руется в процессе речи. Если бы речевых жанров не существовало и мы не владели ими, если бы нам приходилось их создавать впервые в процессе речи, свободно и впервые строить каждое высказывание, речевое общение было бы почти невозможно. <...> Наряду с подобными стандартными жанрами существовали и существуют, конечно, и более свободные и творческие жанры устного речевого общения: жанры салонных бесед на бытовые, общественные, эстетические и иные темы, жанры застольных бесед, бесед интимно-дружеских, интимно-семейных и т.д. (номенклатуры устных речевых Жанров пока не существует, и даже пока не ясен и принцип такой номенклатуры). Большинство этих жанров поддается свободно-творческому переоформлению (подобно художественным жанрам, а некоторые, может быть, и в большей степени), но творчески свободное использование не есть создание жанра заново – жанрами нужно хорошо владеть, Чтобы свободно пользоваться ими. <...>

Предложение, как и слово, обладает законченностью значения и законченностью грамматической формы, но эта законченность значения носит абстрактный характер и именно поэтому и является такой четкой; это законченность элемента, но не завершенность целого. Предложение как единица языка, подобно слову, не имеет автора. Оно ничье, как и слово, и, только функционируя как целое высказывание, оно становится выражением позиции индивидуально говорящего в конкретной ситуации речевого общения. Это подводит нас к новой, третьей особенности высказывания: к отношению высказывания к самому говорящему (автору высказывания) и к другим участникам речевого общения. <...>

Итак, обращенность, адресованность высказывания есть его конститутивная особенность, без которой нет и не может быть высказывания. Различные типические формы такой обращенности и различные типические концепции адресатов – конститутивные, определяющие особенности различных речевых жанров.

В отличие от высказываний (и речевых жанров) значащие единицы языка – слово и предложение – по самой своей природе лишены обращенности, адресованности: они и ничьи и ни к кому не обращены. Более того, сами по себе они лишены всякого отношения к чужому высказыванию, к чужому слову. Если отдельное слово или предложение обращено, адресовано, то перед нами законченное высказывание, состоящее из одного слова или одного предложения, и обращенность принадлежит не им как единицам языка, а высказыванию. Окруженное контекстом предложение приобщается обращенности только через целое высказывание как его составная часть (элемент).

Язык как система обладает громадным запасом чисто языковых средств для выражения формальной обращенности: лексическими средствами, морфологическими (соответствующие падежи, местоимения, личные формы глаголов), синтаксическими (различные шаблоны и модификации предложений). Но действительную обращенность они приобретают только в целом конкретного высказывания. И выражение этой действительной обращенности никогда не

исчерпывается, конечно, этими специальными языковыми (грамматическими) средствами.

Их может и вовсе не быть, а высказывание при этом может очень остро отражать влияние адресата и его предвосхищаемой ответной реакции. Отбор всех языковых средств производится говорящим под большим или меньшим влиянием адресата и его предвосхищаемого ответа.

Когда анализируется отдельное предложение, выделенное из контекста, то следы обращенности и влияния предвосхищаемого ответа, диалогические отклики на предшествующие чужие высказывания, ослабленные следы смены речевых субъектов, избороздившие высказывание изнутри, утрачиваются, стираются, потому что все это чуждо природе предложения как единицы языка. Все эти явления связаны с целым высказыванием, и там, где это целое выпадает из зрительного поля анализирующего, они перестают для него существовать. В этом – одна из причин той узости традиционной стилистики, на которую мы указывали. Стилистический анализ, охватывающий все стороны стиля, возможен только как анализ целого высказывания и только в той цепи речевого общения, неотрывным звеном которой это высказывание является. <...>

Цит. по: Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 263, 269–272, 273–274, 278–279, 297–298.

Э. БЕНВЕНИСТ. ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА

Глава XXIII. О СУБЪЕКТИВНОСТИ В ЯЗЫКЕ

Если язык, как принято говорить, является орудием общения, то чему он обязан этим свойством? Вопрос может удивить, как удивляют все те случаи, когда как будто бы ставится под сомнение очевидное. <...>

На самом же деле сопоставление языка с орудием – а для того, чтобы такое сопоставление было хотя бы понятным, язык приходится сравнивать с орудием материальным – должно вызывать большое недоверие, как всякое упрощенное представление о языке. Говорить об орудии – значит противопоставлять человека природе. Кирки, стрелы, колеса нет в природе. Их изготовили люди. Язык же – в природе человека, и человек не изготавливал его. Мы постоянно склонны наивно воображать некую первоначальную эпоху, когда вполне сформировавшийся человек открывает себе подобного, такого же вполне сформировавшегося человека, и между ними постепенно начинает вырабатываться язык. Это чистая фантазия. Невозможно вообразить человека без языка и изобретающего себе язык. Невозможно представить себе изолированного человека, ухитряющегося осознать существование другого человека. В мире существует только человек с языком, человек, говорящий с другим человеком, язык, таким образом, необходимо принадлежит самому определению человека.

Все свойства языка: нематериальная природа, символический способ функционирования, членораздельный характер, наличие содержания – достаточны уже для того, чтобы сравнение с орудием, отделяющее от человека его

атрибут – язык, оказалось сомнительным. Безусловно, в повседневной практике возвратно-поступательное движение речи вызывает мысль об обмене, и потому та «вещь», которой, как нам кажется, мы обмениваемся, представляется нам выполняющей орудийную или посредническую функцию, которую мы склонны гипостазировать в «объект». Но – подчеркнем еще раз – эта роль принадлежит речи.

Как только мы отнесем эту функцию к речи, мы можем поставить вопрос о том, что именно предрасполагает речь выполнять ее. Для того чтобы речь обеспечивала «коммуникацию», она должна получить полномочия на выполнение этой функции у языка, так как речь представляет собой не что иное, как актуализацию языка. Действительно, мы должны искать основание этого свойства в языке. Оно заключено, как нам кажется, в одной особенности языка, которая мало заметна за скрывающей ее «очевидностью» и которую мы пока можем охарактеризовать только в общем виде.

Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект, ибо только язык придает реальность, свою реальность, которая есть свойство быть, – понятию «Его» – «мое я».

«Субъективность», о которой здесь идет речь, есть способность говорящего представлять себя в качестве «субъекта». Она определяется не чувством самого себя, имеющимся у каждого человека (это чувство в той мере, в какой можно его констатировать, является всего лишь отражением), а как психическое единство, трансцендентное по отношению к совокупности полученного опыта, объединяемого этим единством, и обеспечивающее постоянство сознания. Мы утверждаем, что эта «субъективность», рассматривать ли ее с точки зрения феноменологии или психологии, как угодно, есть не что иное, как проявление в человеке фундаментального свойства языка. Тот есть «его», кто говорит «его». Мы находим здесь самое основание «субъективности», определяемой языковым статусом «лица».

Осознание себя возможно только в противопоставлении. Я могу употребить я только при обращении к кому-то, кто в моем обращении предстанет как ты. Подобное диалогическое условие и определяет лицо, ибо оно предполагает такой обратимый процесс, когда я становлюсь ты в речи кого-то, кто в свою очередь обозначает себя как я. В этом обнаруживается принцип, следствия из которого необходимо развивать во всех направлениях. Язык возможен только потому, что каждый говорящий представляет себя в качестве субъекта, указывающего на самого себя как на я в своей речи. В силу этого я конституирует другое лицо, которое будучи абсолютно внешним по отношению к моему «я», становится моим эхо, которому я говорю ты и которое мне говорит ты. Полярность лиц – вот в чем состоит в языке основное условие, по отношению к которому сам процесс коммуникации, служивший нам отправной точкой, есть всего лишь прагматическое следствие. Полярность эта к тому же весьма своеобразна, она представляет собой особый тип противопоставления, не имеющий аналога нигде вне языка. Она не означает ни равенства, ни симметрии: «его» занимает всегда трансцендентное положение по отношению к «ты», однако ни один из

терминов немыслим без другого; они находятся в отношении взаимодополнительности, но по оппозиции «внутренний - внешний», и одновременно в отношении взаимообратимости. Бесполезно искать параллель этим отношениям: ее не существует. Положение человека в языке неповторимо.

Таким образом, рушатся старые антиномии «я» и «другой», индивид и общество. Налицо двойственная сущность, которую неправомерно и ошибочно сводить к одному изначальному термину, считать ли этим единственным термином «я», долженствующее будто бы утвердиться сначала в своем собственном сознании, чтобы затем открыться сознанию «ближнего»; или же считать таким единственным изначальным термином общество, которое как целое как бы существует до индивида, из которого индивид выделяется лишь по мере осознания самого себя. Именно в реальности диалектического единства, объединяющего оба термина и определяющего их во взаимном отношении, и кроется языковое основание субъективности. <...>

Цит. по: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 292, 293–294.

В. ФОН ГУМБОЛЬДТ. ОБ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ, ИЛИ ПЛАН СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

<...> Однако мысль о том, чтобы собрать, насколько возможно, всю массу языкового материала во всей его полноте, произвести внутри его сравнение по всем мыслимым законам аналогии, чтобы, понимая язык как следствие, создавать и совершенствовать его в соответствии с поведением человека, либо, понимая его как причину, делать выводы о внутреннем мире людей, и все это с философским рассмотрением общей человеческой природы и с историческим рассмотрением судеб различных народов, – вот эта мысль, я полагаю, до сих пор остается без внимания, а ведь она заслуживает самого серьезного отношения, поскольку добавляет к уже существующим не только новую науку, но и новый тип научных исследований.

<...> Уже давно сложилось такое мнение, что различия между языками суть досадное препятствие на пути культуры, а изучение языков – неизбежное зло всякого образования. Никому не приходит в голову, что язык – это не просто средство для понимания народа, который на нем говорит, или писателя, который на нем пишет. Отсюда – неправильная склонность оценивать важность языка в зависимости от совершенства его литературы, полное пренебрежение к языкам, литературы вовсе не имеющим, и превратная методика обучения языку, при которой усилия направляются на то, чтобы понимать произведения писателей.

<....> Язык, и не только язык вообще, но каждый язык в отдельности, даже самый бедный и грубый, сам по себе и для себя есть предмет, заслуживающий самого пристального осмысления. Язык – это не просто, как принято говорить, отпечаток идей народа, так как множество его знаков не позволяет обна-

ружить никаких существующих отдельно от него идей; язык – это объединенная духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная в определенных звуках, в этом облике и через взаимосвязь своих звуков понятная всем говорящим и возбуждающая в них примерно одинаковую энергию. Человек весь не укладывается в границы своего языка; он больше того, что можно выразить в словах; но ему приходится заключать в слова свой неуловимый дух, чтобы скрепить его чем-то, и использовать слова как опору для достижения того, что выходит за их рамки. Разные языки – это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее; и если вещь эта не является предметом внешнего мира, каждый [говорящий] по-своему ее создает, находя в ней ровно столько своего, сколько нужно для того, чтобы охватить и принять в себя чужую мысль. Языки – это иероглифы, в которые человек заключает мир и свое воображение; при том, что мир и воображение, постоянно создающее картину за картиной по законам подобия, остаются в целом неизменными, языки сами собой развиваются, усложняются, расширяются. Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия. Язык всегда воплощает в себе своеобразие целого народа, поэтому в нем не следует бояться ни изощренности, ни избытка фантазии, которые кое-кто считает нежелательными. То, что они дают нам сразу, есть полная, чистая и простая человеческая природа, если же мы проникаем в глубины их тайн, в нашу сухую рассудочность врывается свежая струя неувядающей фантазии других народов, заключающих каждое впечатление, которое юный мир дарит их еще не притупившимся чувствам, в оболочку живого и подвижного образа.

Изучение языков мира – это также всемирная история мыслей и чувств человечества. Она должна описывать людей всех стран и всех степеней культурного развития; в нее должно входить все, что касается человека.

Цит. по: Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 346-349.

Р. ЯКОБСОН. ЯЗЫК В ОТНОШЕНИИ К ДРУГИМ СИСТЕМАМ КОММУНИКАЦИИ

Эдуард Сепир указывал на тот очевидный факт, что «язык является коммуникативным процессом в чистом виде в каждом известном нам обществе». Наука о языке исследует строение речевых сообщений и лежащий в основе их код. Структурные характеристики языка интерпретируются в свете задач, которые они выполняют в различных процессах коммуникации, и, следовательно, лингвистику можно кратко определить как изучение коммуникации, осуществляемой с помощью речевых сообщений. Мы анализируем эти сообщения с учетом всех относящихся к ним факторов, таких, как неотъемлемые свойства сообщения самого по себе, его адресанта и адресата, либо действительного, либо

лишь предполагаемого адресантом в качестве реципиента. Мы изучаем характер контакта между этими двумя участниками речевого акта; мы стремимся выявить код, общий для адресанта и адресата; мы пытаемся найти характерные общие черты, а также различия между операциями кодирования, осуществляемыми адресантом, и способностью декодирования, присущей адресату. Наконец, мы пытаемся определить место, занимаемое данным сообщением в контексте окружающих сообщений, которые либо принадлежат к тому же самому акту коммуникации, либо связывают воспоминаемое прошлое с предполагаемым будущим, и мы задаемся основополагающим вопросом об отношении данного сообщения к универсуму дискурса.

Рассматривая роли участников речевого акта, мы должны разграничивать несколько существенных аспектов в их взаимодействии, а именно: основную форму их отношений, чередование процессов кодирования и декодирования во время коммуникации и кардинальные различия между этими аспектами при диалогической речи и монологе. Вопросом, подлежащим изучению, является увеличение «радиуса коммуникации», под которым понимается совокупность реплик и ответов на них между людьми определенного множества, и расширение аудитории монологической речи, которая может быть адресована тем, «кого она касается». В то же время исследователям в областях психологии, неврологии и прежде всего лингвистики становится все более очевидным тот факт, что язык является средством не только интерперсональной, но и интраперсональной коммуникации. Это последняя область, которую раньше недооценивали или попросту игнорировали, сейчас, в значительной степени под влиянием блестящих исследований Л.С. Выготского и А.Н. Соколова, стала актуальной и заострила важные вопросы изучения внутреннего существования речи и разных аспектов внутренней речи, которая формирует, программирует и завершает наше высказывание и в общем виде управляет внутренней и внешней стороной нашего речевого поведения, равно как и нашей молчаливой реакции на какие-либо сообщения. Среди многих проблем, которым Чарльз Сэндерс Пирс со свойственной ему прозорливостью уделял больше внимания, чем его современники, была проблема субстанции и значимости молчаливых внутренних диалогов человека с самим собой, «как если бы это был кто-то другой». Речевое взаимодействие, перекидывающее мосты через пространственные барьеры между собеседниками, захватывает и временные аспекты языковой коммуникации, связывая воедино прошлое, настоящее и будущее одного человека.

Хотя среди всех сообщений, используемых при человеческой коммуникации, речевые сообщения играют доминирующую роль, мы все равно должны принимать во внимание и остальные виды сообщений, употребляемые в человеческом обществе, и исследовать их структурные и функциональные особенности, не забывая, однако, что для всего человечества первичным средством коммуникации является язык и что такая иерархия коммуникативных средств необходимо отражается на всех остальных, вторичных типах сообщений, передаваемых человеком, и вызывает того или иного рода зависимость этих сообщений от языка, и в частности от владения языком и от его использования для

сопровождения или объяснения любых других сообщений. Каждое сообщение состоит из знаков; соответственно наука о знаках называется семиотикой, занимается общими принципами, лежащими в основе структуры всех знаков, с учетом их использования в составе сообщений и характера этих сообщений, а также особенностей различных знаковых систем и сообщений, использующих эти разные типы знаков. Семиотика, которую предвидели философы XVII–XVIII вв. и основы которой были заложены в конце 1860-х гг. Чарльзом Сэндерсом Пирсом и на рубеже XIX–XX вв. – Фердинандом де Соссюром (последний называл эту науку несколько иначе – *semiologie*), сейчас в разных странах переживает процесс стремительного и бурного развития.

Семиотика как исследование коммуникации посредством всех типов сообщений составляет концентрический круг, ближайший к лингвистике как исследованию коммуникации с помощью речевых сообщений; следующий, более широкий концентрический круг образует общая наука о коммуникации, которая включает социальную антропологию, социологию и экономику. Можно снова и снова цитировать все еще актуальное напоминание Сепира о том, что «каждая культурная система и каждый единичный акт общественного поведения явно или скрыто подразумевает коммуникацию». Следует помнить, что, какой бы уровень коммуникации мы не рассматривали, он, как и любой другой уровень, предполагает обмен сообщениями того или иного рода и тем самым не может мыслиться в отрыве от семиотического уровня, который в свою очередь отводит главенствующую роль языку. Вопрос о семиотических и в особенности языковых составляющих, присутствующих в каждой системе человеческой коммуникации, должен служить важным направляющим фактором в будущих исследованиях всех типов социальной коммуникации. Опыт, накопленный лингвистической наукой, уже стал учитываться и творчески использоваться в современных антропологических и экономических исследованиях – воистину творчески, поскольку тщательно разработанную и продуктивную лингвистическую модель нельзя механически переносить на другую область; эта модель эффективна лишь тогда, когда она не вступает в противоречие с автономными свойствами соответствующей предметной области.

Цит. по: Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 319–321.

Р. БАРТ. ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ К ТЕКСТУ

I <->

В противовес произведению (традиционному понятию, которое издавна и по сей день мыслится, так сказать, по-ньютоновски), возникает потребность в новом объекте, полученном в результате сдвига или преобразования прежних категорий. Таким объектом является Текст. Понимаю, что слово это сейчас в моде (я и сам склонен его употреблять достаточно часто) и тем самым вызывает у некоторых недоверие; потому-то мне и хотелось бы сформулировать себе для памяти основные пропозиции, в пересечении которых и располагается, на мой

взгляд, Текст. Слово «пропозиция», «предложение» следует здесь понимать скорее в грамматическом, чем в логическом смысле; это не доказательства, а просто высказывания, своего рода «пробы», попытки подхода к предмету, в которых допускается метафоричность. <...>

* * *

1. Текст не следует понимать как нечто исчислимое. Тщетна всякая попытка физически разграничить произведения и тексты. В частности, опрометчиво было бы утверждать: «произведение – это классика, а текст – авангард»; речь вовсе не о том, чтобы наскоро составить перечень «современных лауреатов» и расставить одни литературные сочинения **in**, а другие **out** по хронологическому признаку; на самом деле «нечто от Текста» может содержаться и в весьма древнем произведении, тогда как многие создания современной литературы вовсе не являются текстами. Различие здесь вот в чем: произведение есть вещественный фрагмент, занимающий определенную часть книжного пространства (например, в библиотеке), а Текст – поле методологических операций (*un champ methodologique*). Эта оппозиция отчасти напоминает (но отнюдь не дублирует) разграничение, предложенное Лаканом: «реальность» показывается, а «реальное» доказывается; сходным образом произведение наглядно, зримо (в книжном магазине, в библиотечном каталоге, в экзаменационной программе), а текст – доказывается, высказывается в соответствии с определенными правилами (или против известных правил). Произведение может поместиться в руке, текст размещается в языке, существует только в дискурсе (вернее сказать, что он является Текстом лишь постольку, поскольку он это сознает). Текст – не продукт распада произведения, наоборот, произведение есть шлейф воображаемого, тянущийся за Текстом. Или иначе: Текст ощущается только в процессе работы, производства. Отсюда следует, что Текст не может неподвижно застыть (скажем, на книжной полке), он по природе своей должен сквозь что-то двигаться – например, сквозь произведение, сквозь ряд произведений.

* * *

2. Точно так же Текст не ограничивается и рамками добропорядочной литературы, не поддается включению в жанровую иерархию, даже в обычную классификацию. Определяющей для него является, напротив, именно способность взламывать старые рубрики. <...>

<...>

<...> можно сказать, что Текст всегда в буквальном смысле парадоксален.

* * *

3. Текст познается, постигается через свое отношение к знаку. Произведение замкнуто, сводится к определенному означаемому. Этому означаемому можно приписывать два вида значимости: либо мы полагаем его явным, и тогда произведение служит объектом науки о буквальных значениях (филологии), либо мы считаем это означаемое тайным, глубинным, его нужно искать, и тогда произведение подлежит ведению герменевтики, интерпретации (марксистской, психоаналитической, тематической и т.п.). Получается, что все произведение в целом функционирует как знак; закономерно, что оно и составляет одну из ос-

новополагающих категорий цивилизации Знака. В Тексте, напротив, означаемое бесконечно откладывается на будущее; Текст уклончив, он работает в сфере означающего. Означающее следует представлять себе не как «видимую часть смысла», не как его материальное преддверие, а, наоборот, как его вторичный продукт (aprescoup). Так же и в бесконечности означающего предполагается не невыразимость (означаемое, не поддающееся наименованию), а игра; порождение означающего в поле Текста (точнее, сам Текст и является его полем) происходит вечно, как в вечном календаре, – причем не органически, путем вызревания, и не герменевтически, путем углубления в смысл, но посредством множественного смещения, взаимоналожения, варьирования элементов. Логика, регулирующая Текст, зиждется не на понимании (выяснении, «что значит» произведение), а на метонимии; в выработке ассоциаций, взаимосцеплений, переносов находит себе выход символическая энергия; без такого выхода человек бы умер. Произведение в лучшем случае малосимволично, его символика быстро сходит на нет, т.е. застывает в неподвижности; зато Текст всецело символичен; произведение, понятое, воспринятое и принятое во всей полноте своей символической природы, – это и есть текст. Тем самым Текст возвращается в лоно языка: как и в языке, в нем есть структура, но нет объединяющего центра, нет закрытости. (К структурализму иногда относятся с пренебрежением, как к «моде»; между тем исключительный эпистемологический статус, признанный ныне за языком, обусловлен как раз тем, что мы раскрыли в нем парадоксальность структуры – это система без цели и без центра.)

* * *

4. Тексту присуща множественность. Это значит, что у него не просто несколько смыслов, но что в нем осуществляется сама множественность смысла как таковая — множественность неустранимая, а не просто допустимая. В Тексте нет мирного сосуществования смыслов – Текст пересекает их, движется сквозь них; поэтому он не поддается даже плюралистическому истолкованию, в нем происходит взрыв, рассеяние смысла. Действительно, множественность Текста вызвана не двусмысленностью элементов его содержания, а, если можно так выразиться, пространственной многолинейностью означающих, из которых он соткан (этимологически «текст» и значит «ткань»). Читателя Текста можно уподобить праздному человеку, который снял в себе всякие напряжения, порожденные воображаемым, и ничем внутренне не отягощен; он прогуливается (так случилось однажды с автором этих строк, и именно тогда ему живо представилось, что такое Текст) по склону лощины, по которой течет пересыхающая река (о том, что река пересыхающая, упомянуто ради непривычности обстановки). Его восприятия множественны, не сводятся в какое-либо единство, разнородны по происхождению – отблески, цветовые пятна, растения, жара, свежий воздух, доносящиеся откуда-то хлопающие звуки, резкие крики птиц, детские голоса на другом склоне лощины, прохожие, их жесты, одеяния местных жителей вдалеке или совсем рядом; все эти случайные детали наполовину опознаваемы – они отсылают к знакомым кодам, но сочетание их уникально и наполняет прогулку несходствами, которые не могут повториться иначе как в виде

новых несходств. Так происходит и с Текстом – он может быть собой только в своих несходствах (что, впрочем, не говорит о какой-либо его индивидуальности); прочтение Текста – акт одноразовый (оттого иллюзорна какая бы то ни было индуктивно-дедуктивная наука о текстах – у текста нет «грамматики»), и вместе с тем оно сплошь соткано из цитат, отсылок, отзвуков; все это языки культуры (а какой язык не является таковым?), старые и новые, которые проходят сквозь текст и создают мощную стереофонию. Всякий текст есть междутекст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение; всякие поиски «источников» и «влияний» соответствуют мифу о филиации произведений, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без кавычек. Произведение не противоречит ни одной философии монизма (при том что некоторые из них, как известно, непримиримые враги); для подобной философии множественность есть мировое Зло. Текст же, в противоположность произведению, мог бы избрать своим девизом слова одержимого бесами (Евангелие от Марка, 5, 9): «Легион имя мне, потому что нас много». Текст противостоит произведению своей множественной, бесовской текстурой, что способно повлечь за собой глубокие перемены в чтении, причем в тех самых областях, где монологичность составляет своего рода высшую заповедь: некоторые «тексты» Священного писания, традиционно отданные на откуп теологическому монизму (историческому или анагогическому), могут быть прочитаны с учетом дифракции смыслов, т.е. в конечном счете материалистически, тогда как марксистская интерпретация произведений, до сих пор сугубо монистическая, может благодаря множественности обрести еще большую степень материализма (если, конечно, марксистские «официальные институты» это допустят).

* * *

7. С учетом этого можно полагать (предлагать) еще один, последний, подход к Тексту – через удовольствие. <...> Конечно, произведение (некоторые произведения) тоже доставляет удовольствие: я могу упоенно читать и перечитывать Пруста, Флобера, Бальзака и даже – почему бы и нет? – Александра Дюма. Однако такое удовольствие, при всей его интенсивности, даже полностью избавленное от любых предрассудков, все же остается отчасти удовольствием потребителем (разве что прилагать чрезвычайные усилия для его критики): ведь хотя я и могу читать этих авторов, я вместе с тем знаю, что не могу их переписать (что ныне уже невозможно писать «так»); одно лишь осознание этого довольно грустного факта отторгает меня от создания подобных произведений, причем такая отторгнутость и есть залог моей современности (быть современным человеком – не значит ли это досконально знать то, что уже нельзя начать сначала?). Что же касается Текста, то он связан с наслаждением, т.е. с удовольствием без чувства отторгнутости. Текст осуществляет своего рода социальную утопию в сфере означающего; опережая Историю (если только История не выберет варварство), он делает прозрачными пусть не социальные, но хотя бы языковые отношения; в его пространстве ни один язык не имеет пре-

имущества перед другим, они свободно циркулируют (с учетом «кругового» значения этого слова). <...>

Цит. по: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 413–423.

И.Т. КАСАВИН. ТЕКСТ. ДИСКУРС. КОНТЕКСТ. ГЛАВА 6. ТЕКСТ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

ТЕКСТОВЫЕ ЭПОХИ <...> Теперь попробуем суммировать и систематически упорядочить наше рассмотрение текстовых эпох как исторических типов чтения и письма. Первая эпоха – период формирования лингвистических систем в контексте мифо-магической культуры раннеродового строя. Здесь знаковая коммуникация является нерасторжимым единством естественного языка, поведенческого акта и космологической схемы. Слово, знак – еще часть предмета в смысле неразвитости абстрактного мышления; одновременно с этим предмет – часть знаковой системы в смысле его зависимости от общей космологической схемы. Процедуры чтения и письма сводятся, поэтому, к «вычитыванию» смыслов из предметов и «приписыванию» предметам знаковой формы – отнюдь не герменевтическим, а, по существу, квазионтологическим процедурам. Типичный текст этой эпохи – магическая формула или рассказ о деяниях богов и героев. В основе его лежит форма культуры, которую М.К. Петров называет «лично-именным кодированием». «Трансляционный механизм лично-именного кодирования изучен достаточно детально, – пишет М.К. Петров. – Это ритуалы посвящения. Их подготовка и непосредственное программирование индивидов во взрослые имена совершаются силами старейшин или старцев, то есть бывшими носителями взрослых имен. Память старцев и есть, собственно, та "фундаментальная библиотека" лично-именного кодирования, в которой хранится "энциклопедия" первобытной социальности: имена – адреса распределения знания и индивидов – и связанные с именами тексты. Вместимость этой коллективной памяти и будет в конечном счете определять возможные объемы знания, которые социокод этого типа способен освоить, включить в трансляцию для передачи от поколения к поколению, а производно от этих объемов код определит и число индивидов, которое он способен удержать в единой социальной структуре».

При всей плодотворности концепции М.К. Петрова, включающей лично-именное, профессионально-именное и абстрактно-понятийное кодирование, нам не удастся в полной мере использовать эту классификацию для разграничения текстовых эпох. В частности, лично-именное кодирование будет лежать в основе как первобытных, так и части античных текстов, распространяясь далее на ряд текстов средневековых. Профессионально-именное кодирование также обнаруживается в античности, средневековьи и значительно позднее, если иметь в виду не только научные, но и философские, религиозно-мистические и иные тексты. Поэтому последний способ кодирования важен для нас только по-

тому, что профессия есть первый способ специализированной коммуникации, способный порождать внутрисоциальные смыслы, в дальнейшем транслируемые в окружающий социум. Здесь не обойтись без обширной цитаты: «Вечность бога-покровителя, именного знака, с которым связан текст профессии, сообщает это свойство трансляционности-вечности, отчужденности от смертных профессионалов всему составу текста – технологическим описаниям образцов для подражания. Принадлежность к тексту бога воспринимается традицией как санкция на трансляцию, как официальное признание обществом социальной ценности новации, введенной в корпус знания. Если профессионал-новатор «сочиняет» миф, то есть находится в позиции «говорящего», реального творца новинки, то профессионал-потребитель, осваивающий эту новинку, всегда находится в позиции «слушателя», который получает эту новинку от имени бога-покровителя. Для профессионала-новатора имя бога-покровителя не более как средство опосредования-социализации результата, такой же знаковый, инертный сам по себе и не создающей сам по себе знания инструмент означения, социализации, как журнал для ученого. Но для профессионала-потребителя бог-покровитель суть источник всего наличного и любого будущего знания. Для него профессионал-новатор лишь «посредник», рассказывающий об эталонной для профессионала деятельности бога. Схема: бог – посредник – человек (профессионал) становится для традиции ее теорией познания, трансмутации. (В несколько универсализированной форме намагниченности-одержимости Платон анализирует эту схему в «Ионе».) Укоренению этой схемы способствует то обстоятельство, что традиционный акт социализации нового через наращивание текста имени бога-покровителя крайне редко использует процедуру выдачи «авторского свидетельства».

В рамках этого способа кодирования происходит оформление лингвистических систем в этнические языки, что идет параллельно с обретением речью своей относительной самостоятельности в форме устного рассказа или диалога. Здесь текст воспроизводит уже не структуру Космоса, но способ живой коммуникации людей. Облекаясь в письменную форму, он утрачивает аутентичность; письмо еще не обладает самоценностью, это лишь «записывание» устного слова. В силу этого доминирует чтение вслух как «придание телесности» тексту. Здесь же возникает впервые и чтение как «почитание» – как форма ритуальной нагруженности чтения и сакрализации текста как тайны. Типичный текст – поэтический эпос, философский диалог, трактат.

«Письменный пересказ», или письмо как «переписывание», с одной стороны, и, с другой – «чтение про себя» – характеристики средневековой текстовой эпохи. В метафорах «книги как мира и мира как книги» заключено как космологическое, так и личностное начало. Интимность общения с Богом и миром через текст действенна в обе стороны, а слово – универсальный инструмент творения, откровения и понимания. В нем почти отсутствует функция самовыражения человека – отсюда безличность авторства, а «почитание» текста превращается едва ли не в единственный способ обращения с ним. Лишь отчасти магия культивирует использование текста для достижения индивидуальных це-

лей, оставаясь на периферии культурного пространства. Типичные тексты эпохи: комментарий к Библии («сумма»), компендиум-«бестиарий», алхимический рецепт, летопись.

Обретение светской культурой регулярной письменной формы – процесс, фундаментальным образом характеризующий эпоху Возрождения. Полюсы напряженности, свойственные этой текстовой эпохе, обусловлены диалогом-противостоянием монастырской и светской, ученой и народной культуры. Извлекаемым из античности и арабского Востока текстам придается историзм, у них обнаруживаются источники и авторы. В эпоху Возрождения письменная монологичная культура Средневековья развивается поступательно, благодаря книгопечатанию; одновременно происходит частичное возвращение к диалогическому чтению «как бы вслух» в силу восприятия народных языковых традиций. Типичные тексты эпохи: натурфилософский диалог, поэтическая эпистола, ироническое нравописание.

Новое время не образует в точном смысле новой текстовой эпохи, но в основном варьирует и комбинирует уже известные стили. По-прежнему в ученых кругах популярны трактаты и диалоги, компендиумы по «естественной истории», мифологические поэмы, социально-критические право- и бытописания; как и ранее распространены жанры письма, путевых записок, мемуары. Нельзя, однако, не отдать должного тому новому, что принесла с собой эта эпоха: получает распространение локальная тенденция античного скептицизма – критика текста. Характерны названия текстов Секста Эмпирика: «Против физиков», «Против астрологов» и т.п., за пересказом которых следует их критический анализ. Весьма примечательная характеристика античного скептицизма, даваемая Х. Ортегой-и-Гассетом. «Сам термин (скептицизм – И.К.) свидетельствует о том, что греки видели в скептике полную противоположность тому сонному человеку, который беспомощно бредет по жизни. Они называли его «исследователем»,... «изыскателем» ... наряду с основным содержанием термина «изыскатель» в греческом языке прослеживаются такие его коннотации, как человек «сверхактивный», «героический» (в котором, правда, много от «мрачного героя»), «неутомимый», а потому и «надоедливый», с которым «ничего не поделаешь». Это человек-коловорот». Скептицизм задал парадигму нововременной текстовой эпохи в том смысле, что критика текста обратилась не столько на его внутренние свойства, но на соответствие его тому, что текстом описывается, – реальности. Текст перестал быть самодовлеющей действительностью, но оказался свидетельством наличия чего-то иного, принципиально отличного от текста, более богатого, сложного и важного. Быть может именно поэтому Новое время все же стало эпохой торжества текста и языка, но особого – математического, которым, по расхожей поговорке, была написана Книга Природы.

Как охарактеризовать современную текстовую эпоху – самая сложная проблема. Современность образует наш собственный жизненный мир, «сферу очевидностей», непрозрачную для наблюдателя. Тому способствует небывалое прежде распространение знаково-символической текстовой культуры в форме книг и печатных СМИ, всеобъемлющей системы образования, которые прони-

зывают и наполняют всю жизнь человека. Одновременно происходящий кризис, обозначенный Ж. Деррида как «конец книги и начало письма», означает начало некоторого нового отношения к тексту, которое, с одной стороны, придает ему универсальный характер (М. Бахтин), а с другой – заменяет его видео-рядом, жестом, а то и просто молчанием, порой прерываемым бессмысленным смехом. Феноменология эпохи выступает как нагромождение традиций, стилей и жанров, наслоение друг на друга бесчисленных критик, интерпретаций и рефлексий, переплетение текстов с многообразными контекстами и неоконченными дискурсами. Самое первое обобщение претендует на аналогию с позднеримской эпохой литературной пресыщенности и потому демонстративной несерьезности по отношению к любому тексту. Текст, ставший рядовым товаром, есть первая и наиболее наглядная примета именно современной эпохи, но это относится не столько к качеству самого текста, сколько к способу его использования. Второе, отчасти скрытое свойство, характеризующее уже производство текста, есть безусловное доминирование вторичных текстов, ничем не ограниченная и технически обеспеченная манипуляция и комбинаторика с языковой реальностью. Подобно тому, как аэрофотосъемка местности изменила облик геологической и географической науки и практики, так сканирование и оцифровка посадили филологию и философию языка на иглу компьютерных технологий. Интернет вкупе с техникой фото- и видеомонтажа, перенесенные в сферу текста, обеспечили его общедоступность, а также возможность его произвольного использования и трансформации. Однако, вспоминая иронию М. Монтеня по поводу «глоссов друг на друга», мы вновь не можем в вышеперечисленном обнаружить специфику современной эпохи. Быть может, именно эта неспецифичность и составляет ее своеобразие? В современности есть все, что мы знаем о прошлом и угадываем в будущем, и только нашим потомкам будет под силу указать на те возможности, которые нам сегодня недоступны.

Цит. по: Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. М., 2008. С. 188–193.

Ю.М. ЛОТМАН. ТЕКСТ В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ: АВТОР – АУДИТОРИЯ, ЗАМЫСЕЛ – ТЕКСТ

Взаимоотношения текста и аудитории характеризуются взаимной активностью: текст стремится уподобить аудиторию себе, навязать ей свою систему кодов, аудитория отвечает ему тем же. Текст как бы включает в себя образ «своей» идеальной аудитории, аудитория – «своего» текста. Рассказывают анекдотическое происшествие из биографии известного математика П.Л. Чебышева. На лекцию ученого, посвященную математической задаче раскройке ткани, явилась непредусмотренная публика: портные, модельеры, модные барыни и проч. Однако первая же фраза лектора: «Предположим для простоты, что человеческое тело имеет форму шара» – обратила их в бегство. В зале оста-

лись лишь математики, которые не находили в таком начале ничего удивительного. Текст «отобрал» себе аудиторию, создав ее по образу и подобию своему.

Общение с собеседником возможно лишь при наличии некоторой общей с ним памяти. Однако в этом отношении существуют принципиальные различия между текстом, обращенным «ко всем», т.е. к любому адресату, и тем, который имеет в виду некоторое конкретное и лично известное говорящему лицо. В первом случае объем памяти адресата конструируется как обязательный для любого, говорящего на данном языке и принадлежащего к данной культуре. Он лишен индивидуального, абстрактен и включает в себя лишь некоторый несократимый минимум. Естественно, что чем беднее память, тем подробнее, пространнее должно быть сообщение, тем недопустимее эллипсисы и умолчания, риторика намеков и усложненных прагматико-референциальных отношений. Такой текст конструирует абстрактного собеседника, носителя лишь общей памяти, лишенного личного и индивидуального опыта. Он обращен ко всем и каждому.

Иначе строится текст, обращенный к лично знакомому адресату, к лицу, обозначаемому для нас не местоимением, а собственным именем. Объем его памяти и характер ее заполнения нам знаком и интимно близок. В этом случае нет никакой надобности загромождать текст ненужными подробностями, достаточно отсылка к памяти адресата. Намек – средство актуализации памяти. Большое развитие получают эллиптические конструкции, локальная семантика, тяготеющая к формированию «домашней», «интимной» лексики. Текст будет цениться не только мерой понятности для данного адресата, но и степенью непонятности для других. Таким образом, ориентация на тот или иной тип памяти адресата заставляет прибегать то к «языку для других», то к «языку для себя» – одному из двух скрытых в естественном языке противоположных структурных потенциалов. Владея некоторым набором языковых и культурных кодов, мы можем на основании анализа данного текста выяснить, на какой тип аудитории он ориентирован. Последнее будет определяться характером памяти, необходимой для его понимания. Реконструируя тип «общей памяти» для текста и его получателей, мы обнаружим скрытый в тексте «образ аудитории». Из этого следует, что текст содержит в себе свернутую систему всех звеньев коммуникативной цепи, и, подобно тому, как мы извлекаем из него позиции автора, мы можем реконструировать на его основании и идеального читателя этого текста. Этот образ активно воздействует на реальную аудиторию, перестраивая ее по своему подобию. Личность получателя текста, представляя семиотическое единство, неизбежно вариативна и способна «настраиваться по тексту». Со своей стороны, и образ аудитории, поскольку он не эксплицирован, а лишь содержится в тексте как некоторая мерцающая позиция, поддается варьированию. В результате между текстом и аудиторией происходит сложная игра позициями.

В самом общем виде можно сказать, что антитезу единой для всех членов социума памяти и памяти предельно индивидуализированной можно сопоставить с противопоставлением официальной и интимной речи, что в современной культуре также находит параллель в оппозиции: письменная речь – устная. Однако это последнее подразделение имеет много традиций: очевидно, что пись-

менная печатная и письменная рукописная разновидности текста получают совершенно различную прагматику, так же как устная ораторская речь и шепот. Конечным пунктом здесь будет внутренняя речь. Строка О. Мандельштама:

Я скажу это начерно – шепотом <...>

(Мандельштам I, 256), – примечательно сближает неперебеленный, незаконченный черновик – запись «для себя» – и шепот.

Особенную сложность приобретает эта картина в художественном тексте, где образ аудитории и связанные с этим прагматические аспекты не автоматически обуславливаются типом текста, а делаются элементами свободной художественной игры и, следовательно, получают дополнительную значимость. Когда любовное, интимное, дружеское стихотворение, по заглавию и смыслу как бы обращенное к одному единственному лицу, публикуется в книге или журнале и, следовательно, меняет аудиторию, адресуясь уже любому читателю, оно превращается из личного послания – факта бытия – в факт искусства. Смена аудитории влечет за собой смену объема общей памяти у текста и его адресатов. В художественном тексте, содержащем конкретно-биографическое обращение, создается двойная адресация: с одной стороны, имитируется обращенность к какому-то единственному адресату, требующая интимности, а с другой, текст адресован к любому читателю, что требует расширенного объема памяти.

В художественном тексте ориентация на некоторый тип общей памяти перестает автоматически вытекать из коммуникативной функции и становится значимым (т. е. свободным) художественным элементом, способным вступать с текстом в игровые отношения. <...>

Способность текста предлагать аудитории условную позицию интимной близости к отправителю текста часто использовалась Пушкиным. При этом поэт сознательно опускает как известные или довольствуется намеком на обстоятельства, которые читателю печатного текста не могли быть знакомы. Надеясь на факты, заведомо известные лишь небольшому кругу друзей, Пушкин как бы приглашал читателей почувствовать себя интимными друзьями автора и включиться в игру намеков и умолчаний. Так, например, в отрывке «Женщины» (под таким заглавием был опубликован в журнале «Московский вестник» 1827, 4 V. № 20, 365–367 отрывок первоначального варианта IV-й главы «Евгения Онегина») содержатся строки:

Словами вещего поэта

Сказать и мне позволено:

Темира, Дафна и Лилета –

Как сон, забыты мной давно (VI, 647).

Современный нам читатель, желая узнать, кого следует разуметь под «вещим поэтом», обращается к комментарию и устанавливает, что речь идет о Дельвиге и подразумеваются строки из его стихотворения «Фани»:

Темира, Дафна и Лилета

Давно, как сон, забыты мной,

И их для памяти поэта

Хранит лишь стих удачный мой

(Дельвиг 1959, 100).

Однако не следует забывать, что стихотворение это было опубликовано лишь в 1922 г. В 1827 г. оно не было напечатано и современникам, если подразумевать основную массу читателей, к которой и адресовался Пушкин в своей публикации 1827 г., оставалось неизвестным, поскольку Дельвиг относился к своим ранним стихам исключительно строго, печатал с большим разбором и отвергнутые не распространял в списках.

Итак, Пушкин отсылал читателей к тексту, который им заведомо не был известен. Какой это имело смысл? Дело в том, что среди потенциальных читателей «Евгения Онегина» имелась небольшая группа, для которой намек был прозрачным – это лицейские друзья Пушкина (стихотворение Дельвига было написано еще в 1810-е гг., вероятно, в Лицее и, возможно, для тесного кружка приятелей послелицейского периода)'.

Таким образом, пушкинский текст, во-первых, рассекал аудиторию на две группы: крайне малочисленную, которой текст был понятен благодаря знакомству с внетекстовыми деталями обстоятельств, пережитых совместно с автором, и основную массу читателей, которые чувствовали здесь намек, но расшифровать его не могли. Однако понимание того, что текст требует позиции тесного знакомства с поэтом, заставляло читателей вообразить себя именно в таком отношении к этим стихам. В результате вторичным действием нерасшифрованного намека было то, что он переносил каждого читателя в позицию интимного друга автора, обладающего с ним особой, уникальной общностью памяти, способного поэтому изъясняться намеками. Подобно этому человек, попавший в тесный кружок близких людей, где все изъясняется намеками на неизвестные ему обстоятельства, сначала испытывает чувство отчуждения, резко переживает свою выключенность из коллектива, но потом, видя, что он принят в него как равный, восполняет отсутствие прямого опыта косвенным и с особенной силой переживает оказанное ему доверие, свое включение в интимный кружок. Пушкин включает читателя в такую игру. <...>

Текст и читатель как бы ищут взаимопонимания. Они «прилаживаются» друг к другу. Текст ведет себя как собеседник в диалоге: он перестраивается (в пределах тех возможностей, которые ему оставляет запас внутренней структурной неопределенности) по образцу аудитории. А адресат отвечает ему тем же – использует свою информационную гибкость для перестройки, приближающей его к миру текста. На этом полюсе между текстом и адресатом возникают отношения толерантности.

Нельзя, однако, упускать из виду, что не только понимание, но и непонимание является необходимым и полезным условием коммуникации. Текст абсолютно понятный есть вместе с тем и текст абсолютно бесполезный. Абсолютно понятный и понимающий собеседник был бы удобен, но не нужен, так как являлся бы механической копией моего «я» и от общения с ним мои сведения не увеличились бы, как от перекалывания кошелька из одного кармана в другой не возрастает сумма наличных денег. Не случайно ситуация диалога не

стирает, а закрепляет, делает значимой индивидуальную специфику участников.

Цит. по: Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996. С. 87–90, 91–93, 113–114.

Н. ПЬЕГЕ-ГРО. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ. ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ?

I. ПЕРВООСНОВА ЛИТЕРАТУРЫ

Предложенное Юлией Кристевой понятие интертекстуальности появляется в критической литературе в конце шестидесятых годов и, быстро закрепившись, становится необходимой принадлежностью любого литературного анализа. Можно подумать, что это сугубо современное понятие, однако на самом деле оно охватывает древнейшие и наиважнейшие практики письма: ни один текст не может быть написан вне зависимости от того, что было написано прежде него; любой текст несет в себе, в более или менее зримой форме, следы определенного наследия и память о традиции. В этом смысле идея интертекстуальности – это простая, даже банальная констатация того факта, что любой текст пребывает в окружении множества предшествующих ему произведений и что, стало быть, избавиться от литературы невозможно.

Интертекстуальность, таким образом, – это устройство, с помощью которого один текст перезаписывает другой текст, а интертекст – это вся совокупность текстов, отразившихся в данном произведении, независимо от того, соотносится ли он с произведением *in absentia* (например, в случае аллюзии) или включается в него *in praesentia* (как в случае цитаты). Таким образом, интертекстуальность – это общее понятие, охватывающее такие различные формы, как пародия, плагиат, перезапись, коллаж и т.д. Такое определение охватывает не только те отношения, которые могут приобретать конкретную форму цитаты, пародии или аллюзии, или выступать в виде точечных и малозаметных пересечений, но и такие связи между двумя текстами, которые хотя и ощущаются, но с трудом поддаются формализации. С этой точки зрения интертекстуальность предполагает вековечное подражание и вековечную трансформацию традиции со стороны авторов и произведений, эту традицию подхватывающих. Интертекстуальность, таким образом, – это первооснова литературы. Однако если любое произведение носит интертекстовый характер, то все же можно различать степени и модификации интертекстуальности. На некоторых произведениях лежит отчетливая печать того или иного предшествующего произведения, причем уже само их заглавие недвусмысленно указывает на эту связь. «Приключения Телемака» Арагона, «Улисс» Джойса, «Георгики» Клода Симона немедленно обнаруживают свой интертекстовый характер. Более того в некоторые эпохи интертекстуальность практикуется с особым усердием. Так, Ренессанс, а затем и классицизм превратили подражание древним в движущую силу

творчества (см. «Антологию», с. 190–191 и 195–196). XX век, как о том свидетельствуют упомянутые выше произведения, не только разработал теорию интертекста, но и систематизировал сами интертекстовые практики. И наконец, феномены интертекстуальности могут быть истолкованы как форма самонасыщения литературы (уже Лабрюйер заметил: «Все давно сказано, и мы опоздали родиться, ибо уже более семи тысяч лет на земле живут и мыслят люди» [Характеры]) или, наоборот, как бесконечная игра дифференцирования и новаторства, допускаемая самим фактом опоры на преднаходимый текст; в обоих случаях мы констатируем, что обновление литературы происходит за счет обращения к одному и тому же материалу.

Если определять интертекстуальность именно таким образом, то ясно, что она существовала задолго до того, как сложился теоретический контекст шестидесятых-семидесятых годов, когда интертекстуальность стала предметом рефлексии и энергичного внедрения в литературно-критический дискурс эпохи. Интертекстуальность, таким образом, не открывает нам какое-то новое явление, но позволяет по-новому осмыслить и освоить формы эксплицитного и имплицитного пересечения двух текстов. В самом деле, зачастую интертекст легко поддается опознанию, выделению и идентификации. Так, когда в романе «По направлению к Свану» рассказчик дублирует реплику Франсуазы в адрес Евлалии цитатой из «Гофолии», то выделить в соответствующем пассаже интертекст очень просто:

Отдернув краешек занавески и убедившись, что Евлалия затворила за собой входную дверь, Франсуаза изрекала: «Льстецы умеют влезть в душу и выклянчить деньжонок, – ну погоди ж они! В один прекрасный день господь их накажет», – и при этом искоса поглядывала на тетю с тем многоговорящим видом, с каким Иоас, имея в виду только Гофолию, произносит:

– Благополучье злых волною бурной смоем'.

Марсель Пруст. По направлению к Свану. 1913

(Пер. Н. Любимова)

Труднее опознать и выделить текст несколькими страницами ниже, где рассказчик упоминает о своем прощании с боярышником:

В тот год мои родители решили вернуться в Париж несколько раньше обычного и в день отъезда, утром, собрались повести меня к фотографу, по, прежде чем повести, завили мне волосы, в первый раз осторожно надели на меня шляпу и нарядили в бархатную курточку, а некоторое время спустя моя мать после долгих поисков наконец нашла меня плачущим на тропинке, идущей мимо Таксонвиля: я прощался с боярышником, обнимая колючие ветки, и, не испытывая ни малейшей благодарности к недрогнувшей руке, выпустившей мне на лоб кудряшки, я, как героиня трагедии – принцесса, которую давят ненужные обручи, топтал сорванные с головы папильотки и новую шляпу.

Там же (Пер. Н. Любимова, с. изм.)

Сравнение с «героиней трагедии», а с другой стороны, упоминание о «ненужных обручах» и «недрогнувшей руке» представляют собой очевидные ре-

минисценции из «Федры». Действительно, приведенный отрывок отсылает нас к 157–160-му стихам трагедии Расина:

О, эти обручи! О, эти покрывала! Как тяжелы они! Кто, в прилежанье злом, Собрал мне волосы, их завязал узлом И это тяжкое, неслыханное бремя Недрогнувшей рукой мне возложил на темя?

Жан Расин. 1677. Д. I. Явл. 3 (Пер. М. Донского)

Несмотря на то что интертекст в данном случае никак не отмечен рассказчиком, он без труда поддается опознанию и выделению.

Совершенно иначе обстоит дело в тех случаях, когда отношение между двумя текстами возникает независимо от какого бы то ни было – дословного или нет – подхвата языковых выражений, как раз и создающего взаимопересечении текстов; так, к примеру, обстоит дело со стихотворением Малларме «Ветер с моря» и стихотворением «Плаванье», замыкающим бодлеровский сборник «Цветы зла». Близость этих двух текстов несомненна (в обоих стихотворениях присутствует как устремленность в иные края, способная обмануть скуку, так и опасность разочарования, подстерегающая путешественника), но обнаруживается она не столько в языковом, сколько в тематическом плане. Интертекст, таким образом, возникает не за счет непосредственного включения одного текста в другой. «Плаванье», скорее, служит фоном для стихотворения «Ветер с моря». Суть дела в том, что интертекст здесь неотчетлив, слабо поддается локализации, и потому правильнее будет сказать, что интертекст стихотворения «Ветер с моря» – это все стихотворение Бодлера.

Таким образом, предложенное нами определение – емкое и краткое, ибо носит обобщающий характер: оно включает в себя не только эксплицитные и имплицитные интерференции между произведениями, но всякого рода диффузные явления перезаписи, т.е. предполагает презумпцию сходства. Понятая таким образом интертекстуальность остро ставит проблему опознания интертекста и его границ. Однако вопрос об опознании и границах межтекстовых феноменов не мог быть поставлен в рамках подхода, предложенного Юлией Кристевой при определении понятия интертекста. В самом деле, Кристева рассматривает интертекстуальность как абсолютную силу, действующую в любом тексте, какова бы ни была его природа. Если для автора книги "Semiotike" интертекстуальность и вправду является первоосновой литературы, то Кристеву интересует не интертекст как объект, но тот процесс, который, по ее мнению, лежит в основании самой интертекстуальности.

Цит. по: Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008. С. 48–51.

У. ЭКО. ПОЭТИКА ОТКРЫТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Это необходимо подчеркнуть, потому что, когда речь идет о произведении искусства, наше западное эстетическое сознание требует, чтобы под «произведением» понималось нечто, созданное определенной личностью, нечто та-

кое, что, несмотря на его различные восприятия, сохраняет свое лицо как организм и не утрачивает (как бы его ни понимали и ни продолжали) печати автора, в силу которой оно обретает свою структуру, значимость и возможность нести какое-то сообщение. Такая позиция предполагает, по-видимому, эстетику, которая допускает различные типы поэтик, но, в конечном счете, стремится к общим определениям (не обязательно догматическим и «вечным»), равно позволяющим обобщенно применять категорию «произведения искусства» к разнообразным видам опыта (начиная от Божественной комедии и кончая электронными композициями, основанными на взаимозаменяемости звуковых структур). Это вполне оправданное требование, стремящееся к тому, чтобы отыскать в исторической изменчивости вкусов и взглядов на искусство неизменные основополагающие структуры человеческого поведения.

Итак, мы видели, что: 1) если «открытые» произведения находятся в движении, для них характерно приглашение создать это произведение вместе с автором; 2) на более широком уровне (как род, вбирающий в себя определенный вид) существуют произведения, которые, будучи законченными в физическом смысле, тем не менее остаются «открытыми» для постоянного возникновения внутренних отношений, которые зритель, слушатель или читатель должен выявить и выбрать в акте восприятия всей совокупности имеющихся стимулов; 3) каждое произведение искусства, даже если оно создано в соответствии с явной или подразумеваемой поэтикой необходимости, в сущности остается открытым для предположительно бесконечного ряда возможных его прочтений, каждое из которых вдыхает в это произведение новую жизнь в соответствии с личной перспективой, вкусом, исполнением.

Итак, перед нами три уровня напряженности одной и той же проблемы, причем как раз третий и интересует эстетику, дающую формальные определения, и именно на этом виде открытости, бесконечности законченного произведения современная эстетика весьма настаивает. В качестве примера приведем высказывание, которое мы считаем одним из самых основательных в том, что касается феноменологии восприятия: «Произведение искусства... представляет собой форму, т.е. законченное движение, так сказать, бесконечность, собранную в какую-то определенность; его всеобъемлемость проистекает из законченности и, следовательно, требует, чтобы его рассматривали не как некую замкнутую в себе статическую и неподвижную реальность, а как открытость бесконечного, которое стало целостным, вкладывая себя в определенную форму. Поэтому у произведения бесконечное множество аспектов, которые не являются только его «частями» или фрагментами, так как каждый из них содержит в себе все произведение целиком и раскрывает его в определенной перспективе. Таким образом, разнообразие исполнений основывается на сложной природе как личности интерпретатора, так и произведения, которое надо исполнить. ...Бесконечное множество точек зрения интерпретатора и бесконечное количество аспектов самого произведения перекликаются между собой, встречаются и друг друга поясняют, так что определенной точке зрения удастся раскрыть все произведение целиком только в том случае, если она схватывает его в

самом конкретном его аспекте, а этот конкретный аспект произведения, полностью раскрывающий его в новом свете, в свою очередь, дожидается точки зрения, которая может схватить его и показать».

Таким образом, это позволяет утверждать, что «все истолкования предстают как окончательные в том смысле, что каждое из них является для толкователя самым произведением, и как временные в том смысле, что каждый толкователь знает, что он должен всегда углублять свое истолкование. Как окончательные, эти истолкования являются параллельными, причем так, что одно из них исключает все прочие, не отрицая их...».

Такие утверждения, сделанные с точки зрения теоретической эстетики, применимы к любому феномену искусства, к художественным произведениям всех времен, но полезно отметить, что не случайным оказывается и тот факт, что именно в наши дни эстетика подмечает и начинает развивать проблематику «открытости». В определенном смысле требования, которые эстетика со своей точки зрения делает значимыми для любого вида художественного произведения, являются теми же самыми, которые поэтика «открытого» произведения формулирует более определенно и решительно. Это, однако, не означает, что существование «открытых» произведений, а также произведений в движении совершенно ничего не привносит в наш опыт, поскольку, дескать, все испокон веку уже присутствует во всем; точно так же нам кажется, что нет такого открытия, которое уже не было бы сделано китайцами. Здесь надо отличать теоретический, стремящийся к обобщенным определениям уровень эстетики как философской дисциплины, от сугубо практического, «ангажированного» уровня различных поэтик как конкретных творческих программ. Эстетика, давая оценку некой особенно насущной потребности нашей эпохи, обнаруживает возможность определенного типа опыта в каждом произведении искусства, независимо от оперативных критериев, которые в нем главенствовали; поэтика (и практика) произведений в движении ощущают эту возможность как особое призвание и, более открыто и осознанно солидаризуясь со взглядами и направлениями современной науки, выводят на уровень программы и делают осязаемым то, что эстетика признает как общее условие истолкования. Такие поэтики осознают «открытость» именно как фундаментальную возможность, которой наделен современный художник и его читатель или слушатель. В свою очередь, эстетика должна признать в таких видах опыта подтверждение своих догадок, крайнее проявление той ситуации, в которой находится читатель или слушатель и которая может осуществляться с различной степенью интенсивности.

Однако в действительности эта новая практика восприятия художественного произведения открывает гораздо более обширную главу в истории культуры, и здесь нельзя говорить только об эстетической проблематике. Поэтика произведения в движении (как и в какой-то мере поэтика «открытого» произведения) создают новый тип отношений между художником и публикой, новый механизм эстетического восприятия, иное положение художественного произведения в обществе; помимо страницы в истории искусства она переворачивает страницу в социологии и педагогике. Она ставит новые практические пробле-

мы, создавая коммуникативные ситуации, устанавливает новое отношение между созерцанием и использованием произведения искусства.

Уясненная в своих исторических предпосылках, в игре отношений и аналогий, которые объединяют ее с различными аспектами современного взгляда на мир, ситуация, в которой находится искусство, – это ситуация, пребывающая в развитии, которая, будучи далекой от окончательного объяснения и подробной фиксации, ставит проблемы на самых разных уровнях. Одним словом, речь идет о ситуации, открытой ситуации в движении.

Цит. по: Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб., 2004. С. 60–65

ИОСИФ БРОДСКИЙ. НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

<...>

Человек принимается за сочинение стихотворения по разным соображениям: чтоб завоевать сердце возлюбленной, чтоб выразить свое отношение к окружающей его реальности, будь то пейзаж или государство, чтоб запечатлеть душевное состояние, в котором он в данный момент находится, чтоб оставить – как он думает в эту минуту – след на земле. Он прибегает к этой форме – к стихотворению – по соображениям, скорее всего, бессознательно-миметическим: черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции пространства к его телу. Но независимо от соображений, по которым он берется за перо, и независимо от эффекта, производимого тем, что выходит из под его пера, на его аудиторию, сколь бы велика или мала она ни была, – немедленное последствие этого предприятия – ощущение вступления в прямой контакт с языком, точнее – ощущение немедленного впадения в зависимость от одного, от всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено.

Зависимость эта – абсолютная, деспотическая, но она же и раскрепощает. Ибо, будучи всегда старше, чем писатель, язык обладает еще колоссальной центробежной энергией, сообщаемой ему его временным потенциалом – то есть всем лежащим впереди временем. И потенциал этот определяется не столько количественным составом нации, на нем говорящей, хотя и этим тоже, сколько качеством стихотворения, на нем сочиняемого. Достаточно вспомнить авторов греческой или римской античности, достаточно вспомнить Данте. Создаваемое сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих языков в течение следующего тысячелетия. Поэт, повторяю, есть средство существования языка. Или, как сказал великий Оден, он – тот, кем язык жив. Не станет меня, эти строки пишущего, не станет вас, их читающих, но язык, на котором они написаны и на котором вы их читаете, останется не только потому, что язык долговечнее человека, но и потому, что он лучше приспособлен к мутации.

Пишущий стихотворение однако пишет его не потому, что он рассчитывает на посмертную славу, хотя он часто и надеется, что стихотворение его переживет, пусть ненадолго. Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмещивается в его настоящее. Существуют, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки – посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготея преимущественно ко второму и третьему), ибо все три даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, – и дальше, может быть, чем он сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихотворение – колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом.

Цит. по: Бродский И. Стихотворения, 1991. С. 5–18.

Г.-Г. ГАДАМЕР. НЕСПОСОБНОСТЬ К РАЗГОВОРУ

Все сразу понимают, что за вопрос здесь поставлен и откуда он берет начало. Что же – искусство разговора исчезает? Разве не наблюдаем мы в жизни общества в нашу эпоху постепенную монологизацию человеческого поведения? Всеобщее ли это явление, взаимосвязанное с присущим нашей цивилизации научно-техническим мышлением? Или же какие-то особенные переживания одиночества, отчуждения от самого себя сковывают уста более молодым людям? А может быть, в этом сказывается решительный отход от самого желания договариваться друг с другом, ожесточенный протест против видимости взаимопонимания в общественной жизни, по поводу чего иные сокрушаются, видя в том неспособность людей разговаривать? Вот вопросы, которые приходят в голову каждому, кто услышит, какую тему мы сейчас назвали.

Между тем способность вести разговор – это естественная принадлежность человека. Аристотель назвал человека существом, наделенным языком, а язык существует лишь в разговоре. Язык можно кодифицировать, до какой-то степени фиксировать в словарях, грамматиках и литературе, и все же, когда язык живет, устаревает, обновляется, и огрубляется, и утончается, достигая высочайших стилистических форм литературы как искусства, то все это живо благодаря активному обмену речами между людьми, говорящими между собой. Язык существует лишь в разговоре.

Но сколь же различной бывает роль разговора! Однажды мне довелось наблюдать в берлинском отеле военную делегацию из Финляндии – офицеры сидели за круглым столом молча, погруженные в себя: сидевших рядом разделяла бескрайняя тундра, их душевный ландшафт, Непреодолимая дистанция. Кто, приехав с Севера, не изумлялся непрестанному прибою – шумным, гулким волнам разговора на площадях и рынках южных стран, Испании или Италии! Но, вполне возможно, мы не должны рассматривать одно – как нежелание вступать в разговор, другое – как особенный дар вести беседу. Потому что вполне вероятно, что разговор – это нечто иное, нежели беспрестанно меняющийся свою динамику обиходный стиль компанейской жизни. И нельзя сомневаться в том, что жалобы на неспособность к разговору подразумевали не этот стиль, а разговор в более ответственном смысле слова.

Попробуем прояснить сказанное на примере явления, обратного по смыслу. Это феномен, который, по всей вероятности, несет долю вины за деградацию нашей способности вести разговор. Я имею в виду разговор по телефону. Мы привыкли вести долгие телефонные разговоры, и что касается людей близких, то здесь трудно заметить обеднение коммуникации, которая сводится лишь к звучанию, к акустике. Но ведь и проблема разговора не встает в тех случаях, когда жизнь двух людей тесно сплетается, и когда благодаря этому сами собою выются нити разговоров. Вопрос о неспособности людей вести разговор подразумевает следующее: способны ли люди открываться друг другу настолько, чтобы между ними начинали виться нити разговора? Находят ли они друг в друге людей открытыми для разговора? И здесь опыт телефонных разговоров обладает документальной значимостью, напоминая ценность фотонегативов. Вот что немыслимо в телефонном разговоре – немыслимо осторожно вслушиваться в готовность другого вступить в разговор, углубиться в него; а вот чем обделен говорящий по телефону человек – он лишен опыта, позволявшего людям шаг за шагом погружаться в разговор, ввязываться в него настолько, чтобы в итоге между собеседниками возникала такая общность, какую уже не разорвать. Я назвал телефонный разговор чем-то вроде фотонегатива. Ибо искусственное сближение людей, обеспечиваемое проволокой, грубо разрывает как раз ту тонкую оболочку, благодаря которой люди, прикасаясь друг к другу и вслушиваясь друг в друга, сближаются постепенно, но верно. Любой телефонный звонок отмечен жестокостью вмешательства в чужую жизнь, даже если твой собеседник заверяет тебя в том, что рад звонку.

Сравнение позволяет нам ощутить, сколь многообразны условия подлинного разговора, такого, который способен повести человека в глубины человеческой общности, ощутить также, какие противодействующие всему этому силы нашли распространение в современной цивилизации. Современная техника информации – вполне мыслимо, что ее развитие находится в самых начатках, предвещающих техническое совершенство, которое, если верить пророкам техники, вскоре сделает совершенно ненужными книги, газеты и уж тем более подлинное наставление, возможность которого возникает в подлинных встречах между людьми, – она, эта техника, вызывает в нашей памяти совсем другой,

противоположный образ, образ людей, благословенных даром разговора; они изменили мир: Конфуций и Гаутама Будда, Иисус и Сократ. Мы читаем их беседы, но записаны они другими, теми, кто едва ли был способен сохранить и воспроизвести сам благодатный дар разговора – ведь он присутствует лишь в живой непроизвольности вопросов и ответов, произнесенных слов и выслушанных речей. Однако как раз такие записи отмечены особой энергией документальности. В известном смысле это литература, она предполагает наличие письменности, умеющей пользоваться литературными средствами, вызывать к жизни и формировать с их помощью живую действительность. Но в отличие от поэтической игры воображения эти записи сохраняют уникальную прозрачность: за ними открывается подлинная действительность, подлинность исторического совершения. Теолог Франц Овербек верно подметил это, применив к Новому завету понятие пралитературы, которая предшествует литературе в собственном смысле так, как праистория предшествует историческому времени.

Нам стоит сориентироваться сейчас и по другому, аналогичному феномену. Ведь неспособность вести разговор не единственный известный нам феномен коммуникации, претерпевающий деградацию. В еще большей степени мы являемся свидетелями того, как исчезает обмен письмами, переписка. Великие эпистолографы принадлежат прошлому, XVII, XVIII веку. Очевидно, век почтовой кареты оказался для этого вида коммуникации более благоприятным, чем технический век полной одновременности вопросов и ответов, в чем и состоит примечательность телефонного разговора: прежде отвечали «с возвращающейся почтой», что надо было понимать вполне буквально – лошади на конечной станции поворачивали назад. Кто знаком с Америкой, знает, что там писем пишут еще меньше, чем в Старом Свете. Но фактом является и то, что в Старом Свете переписка настолько редуцируется, настолько ограничивается вещами, для которых не требуется ни пластическое владение языком, ни способность чувствования, ни творческая сила воображения, что собственно телетайп лучше справляется с такими обязанностями, чем ручка. Письмо теперь – отсталое средство информации.

В истории философского мышления феномен разговора, и в особенности выдающаяся форма его, разговор с глазу на глаз, именуемый диалогом, тоже сыграл свою роль в том самом противостоянии, какое мы только что осознали в качестве культурного всеобщего феномена. Прежде всего, эпоха романтизма, а затем ее повторение в XX веке отвели феномену разговора критическую роль, противопоставив его роковой монологизации философского мышления. Такие мастера разговора, как Фридрих Шлейермахер, гений дружбы, как Фридрих Шлегель, всеобщая отзывчивость которого, скорее, изливалась в разговоре, не приобретая устойчивых, непреходящих форм, были в то же самое время и философскими адвокатами диалектики, такой диалектики, которая приписывает особую, преимущественную истинность платоновскому образцу диалога, разговора. Легко понять, в чем заключается эта преимущественная истинность. Когда два человека, встречаясь, обмениваются мыслями, можно сказать, что

здесь предстоят друг другу два мира, два взгляда на мир, два образа мира. Не один взгляд на один мир, то есть не то, что стремится сообщить людям великий мыслитель с его особенным учением, с его особенными понятийными усилиями. Уже Платон излагал свою философию исключительно в форме литературных диалогов, и, конечно, не только из чувства благоговения перед мастером разговора, перед Сократом. Платон видел в диалоге принцип истины: слово подтверждается и оправдывается лишь тогда, когда другой человек воспринимает его, выражая свое согласие с ним; лишена обязательности последовательная мысль, если в ее движении ее не сопровождает мысль другого. Нет сомнения, любая отдельная точка зрения до какой-то степени случайна. Как человек переживает мир в своем опыте, как он его видит, слышит, наконец, ощущает на вкус – все это навеки остается его сокровенной тайной. «Как показать на запах?» Чувственная апперцепция – личное неотторжимое достояние каждого из нас; и наши влечения, и наши интересы сугубо индивидуальны, а разум, общий всем и наделенный способностью постигать общее для всех, – он бессилен перед всей той ослепленностью, какую воспитывает в нас наша отъединенность. Значит, разговор с другим, согласие другого того с нами, его возражения, его понимание и непонимание знаменуют расширение нашей индивидуальности – это всякий раз испытание возможной общности, на которое подвигает нас разум. Можно представить себе целую философию разговора, основанную на подобном опыте, – на неповторимости взгляда на мир каждого отдельного человека, отражающего в то же время весь мир в целом, и на образе мира в целом, который во всех отдельных взглядах на него предстает одним и тем же. Такой была грандиозная метафизическая концепция Лейбница, которой восхищался Гете: отдельные индивиды – зеркала универсума; в своей совокупности они и составляют единый универсум. На таком основании можно было бы строить целый универсум диалога.

Романтизм, открыв неисповедимую тайну индивидуальности, возражал против абстрактной всеобщности понятия. То же самое повторилось и в начале нашего века, когда критике была подвергнута академическая философия XIX века, либеральная вера в прогресс. Не случайно именно в XX веке был переведен на немецкий язык и стал фактором европейского значения Серен Кьеркегор, датский писатель, выученик немецкого романтизма, который в 40-е годы XIX столетия выступил, доказав огромное писательское мастерство, против засилья гегелевского идеализма. В Гейдельберге, да и во многих других городах Германии, новое мышление противопоставило неокантианскому идеализму опыт «другого», опыт «Ты», опыт слова, которое соединяет в себе «Я» и «Ты». Возрождение Кьеркегора, которому особенно способствовал Ясперс, нашло особое выражение в Гейдельберге, в журнале «Die Kreatur». Таких мыслителей, как Франц Розенцвейг и Мартин Бубер, Фридрих Гогартен и Фердинанд Эбнер, чтобы назвать представителей иудаизма, протестантизма и католицизма, принадлежащих самым разным лагерям (здесь необходимо назвать и такого выдающегося психиатра, как Виктор фон Вайцзекер), объединяло убеждение в том, что путь истины – это диалог.

Что же такое разговор? Наверняка припомнится нам нечто такое происходящее между людьми, что при всей пространности, даже потенциальной бесконечности обладает все же единством и завершенностью. Разговором для нас было нечто такое, что потом оставило в нас какой-то след. Разговор не потому стал разговором, что мы узнали что-то новое, – нет, с нами приключилось нечто такое, с чем мы не встречались еще в собственном опыте жизни. Каждый сам, на основании собственного опыта, узнает то самое, что вдохновляло философов – критиков монологической мысли. Разговор способен преобразовать человека. Разговор, если он удался, оставляет что-то нам он оставляет что-то в нас, и это «что-то» изменяет нас. Так что разговор – в непосредственной близости к дружбе. Только в разговоре друзья могут найти друг друга – хорошо еще, если и удастся посмеяться вместе, когда взаимосогласие устанавливается уже без всяких слов; тогда и возникает та общность, в которой каждый остается для другого одним и тем же, ибо каждый обретает себя в другом, изменяя себя по образу другого.

Однако чтобы говорить не только о таких крайних и наиболее глубоких формах разговора, уделим внимание тем разновидностям его, какие бывают в жизни. И перед ними всеми встает та угроза, что названа в заглавии статьи. Вот, например, воспитательный разговор. Он не то чтобы заслуживал какого-то предпочтения, но на его примере легче всего показать, что же скрывается за переживанием неспособности вести беседу. Конечно, разговор между учителем и учеником – одна из первозданных форм, в какой познавался опыт разговора; все те наделенные даром вести разговоры люди, о которых говорили мы выше, все они наставляли учеников, разговаривая с ними. Однако в ситуации, в какой находится учитель, заключена одна трудность, и перед нею большинство отступает. Это трудность поддерживать в себе способность к разговору. Тот, кто учит, полагает, что должен говорить, что он вправе говорить; чем более последовательно и связно он говорит, тем более убеждается в том, что способен передавать другим свое учение. Такова всем известная опасность, которую таит в себе кафедра. Воспоминание моих студенческих лет – семинар, который вел Гуссерль. Известно, что такие семинары должны быть по возможности разговорами – обсуждением научных проблем, в крайнем случае беседой учителя с учениками. Гуссерль, в начале 20-х годов вдохновленный сознанием своей философской миссии, этот фрайбургский маэстро-феноменолог, помимо прочего занимался и преподавательской деятельностью, которая на деле была выдающейся. Но он не был мастером вести разговоры. На упомянутом семинарском заседании он поставил в самом начале вопрос, получил на него краткий ответ и затем, разбирая этот ответ, проговорил без перерыва два часа. Выходя в конце заседания из аудитории, он заметил своему ассистенту Хайдеггеру: «Да, сегодня была увлекательная дискуссия»...

Подобного рода факты и привели к нынешнему кризису лекционных курсов. Тут вина за неспособность к разговору лежит на преподавателе, а поскольку он представляет науку, то и на монологической структуре современной науки, научной теории. Попытки разбавить лекцию дискуссией предпринимались в

высшей школе неоднократно, но всякий раз убеждались в противоположном: слушателю крайне трудно переходить от рецептивной установки к вопросам, к возражениям, лишь очень редко ему удается проявить инициативу. В конце концов непреодолимая трудность заключается в самой ситуации преподавания – с тех самых пор, как учитель уже не ведет беседу в небольшом, интимном кругу учеников. Уже Платон знал об этой трудности; нельзя вести разговор со многими одновременно, нельзя вести разговор даже в присутствии многих. Наши дискуссии на эстраде, за столом – это наполовину мертвые разговоры. Однако бывают иные, подлинные, то есть индивидуализированные ситуации разговора, когда разговор сохраняет свою функцию. Я хотел бы выделить три типа таких разговоров – переговоры, терапевтические беседы, интимный разговор.

Уже в самом слове «переговоры» подчеркнуто взаимоотношение, в каком находятся участники разговора. Конечно, это одна из форм социальной практики. И деловые, и политические переговоры не отличаются тем характером, что обмен мыслями между отдельными лицами. Правда, и переговоры, если они оканчиваются успешно, приводят к соглашению, в чем и заключается их функция, однако участники переговоров, излагавшие свои условия, выступали не как частные лица, а как представители определенных сторон. Тем не менее, было бы небезынтересно исследовать, какими чертами подлинного умения вести разговоры наделены удачливые деловые люди или политики, что помогает им преодолевать баррикады, возводимые другой стороной на пути к соглашению. Несомненно, и здесь решающей предпосылкой выступает способность воспринимать другого именно как другого. То есть в этом случае – действительные интересы другого, которые противостоят твоим интересам, но которые, если правильно их воспринять, быть может, содержат в себе возможности сближения и согласия. Следовательно, и переговоры сохраняют всеобщее свойство разговора: чтобы вести Разговор, нужно уметь слушать. Итак, встреча с другим поднимается над уровнем собственной ограниченности даже и в том случае, если Речь идет о долларах или политических интересах.

Особенно поучительны для нашей темы терапевтические беседы прежде всего те, что применяются в психоаналитической практике. Потому что здесь неспособность к разговору – это исходная ситуация, а процесс лечения и состоит в том, что пациент вновь учится вести разговор. Связь больного с окружающим миром нарушена его навязчивыми представлениями, в этом и состоит болезнь, которая, в конце концов, превращает больного в совершенно беспомощное существо. Больной настолько захвачен своими представлениями, что уже не способен слышать другого, он весь сосредоточен на своих болезненных представлениях. Он выпадает из естественной общности людей, ведущих разговоры, оказывается в изоляции, но именно невыносимость такого положения и вынуждает его осознать, в конце концов, что он болен, и приводит его к врачу. Вот исходная ситуация, которая чрезвычайно важна для нашей темы. Вообще, крайности заключают в себе урок, применимый к более обычным случаям. Особенность психоаналитической беседы состоит в том, что здесь неспособ-

ность к разговору, составляющая суть самой болезни, излечивается не чем иным, как разговором. Однако не все, чему мы можем поучиться здесь, можно просто перенести в другую область. Так, врач-психоаналитик – это не просто собеседник, но собеседник, наделенный знанием, и, преодолевая сопротивление пациента, он вынуждает его открыть перед ним табуизированные сферы бессознательного. Справедливо подчеркивают, что беседа все же является совместным трудом раскрытия, а не простым применением знания со стороны врача. Однако иное, связанное с этим специфическое условие психоаналитического разговора ограничивает возможность переносить полученные здесь выводы на социальную практику: первой предпосылкой психоаналитического разговора служит признание пациента в том, что он болен; итак, неспособность к диалогу сознает себя.

Но ведь тема наших размышлений – это, напротив, неспособность к разговору, которая не сознается, не желает признаваться. Наоборот, здесь норма – подмечать эту неспособность у другого, но не у себя – Вот эта норма: «С тобой невозможно разговаривать». А у другого остается чувство или даже уверенность, что его не поняли. Бывает так, что человек умолкает уже заранее, от огорчения стискивает зубы. В подобном случае «неспособность к разговору» – это диагноз болезни, и его ставит человек, который не вступает в разговор, человек, которому не удастся вступить в разговор с другим. Неспособность к разговору другого – это в то же самое время и «моя» неспособность к разговору.

Мне хотелось бы рассмотреть эту неспособность к разговору и с субъективной, и с объективной стороны, то есть, с одной стороны, поговорить о неспособности слушать, а с другой – об объективной неспособности слышать, которая объясняется тем, что нет общего языка. Неспособность слушать – феномен настолько известный, что вовсе не к чему представлять себе каких-то других людей, совсем особо неспособных к этому. Все это прекрасно знаешь за самим собой – постоянно пропускаешь что-то мимо ушей или неверно слышишь. Мы не услышали вовремя, что происходит в душе другого, наши уши были недостаточно восприимчивы, чтобы расслышать, как другой умолкает и уходит в себя, – не принадлежат ли подобные наблюдения к самому фундаментальному опыту человека? Или иное – неверное слышание. Чего здесь только не бывает! Однажды я сидел в полицейском участке в Лейпциге – местные органы превысили власть, но, впрочем, повод был пустячный. И вот, сидя в тюрьме, я слышал, как целый день в коридорах выкрикивали имена тех, кого вызывали на допрос. И всякий раз мне в первое мгновение казалось, что я слышу свое имя, – так напряжено было мое внимание! Оба феномена, и неслышание, и ложное слышание, восходят к одной и той же причине, заключенной в самом человеке. Пропускает мимо ушей и неверно слышит тот, у кого уши, так сказать, постоянно забиты теми речами, с которыми он непрестанно обращается к самому себе, следуя своим влечениям, преследуя свои интересы, – до такой степени, что он и не способен слышать другого. Такова – это я подчеркиваю – сущностная черта всех нас, черта, представленная со всеми мыслимыми оттенками. И, тем

не менее: быть способным к разговору, то есть слышать другого, – в этом, представляется мне, состоит возвышение человека к подлинной гуманности.

Но, конечно, есть и объективная причина: общий язык межчеловеческого общения все более распадается по мере того, как мы вживаемся в Монологическую ситуацию научной цивилизации, привыкая к анонимной технике информации, во власть которой мы все отданы. Вспомним застольные беседы и подумаем теперь о крайней форме их омертвления, Которая, с помощью технического комфорта и его бездумного применения, достигается в роскошных квартирах некоторых достойных сострадания богатых американцев. Тут столовые устроены так, что каждый сидящий за столом человек, поднимая глаза от тарелки, видит перед собой экран телевизора, предназначенного специально для него. Можно вообразить себе дальнейший прогресс техники, когда у человека на носу сидят очки, но он не смотрит в очки, а видит в их стеклах телепередачу, – бывает же, что встречаешь человека, который, гуляя в Оденвальдес, слушает привычные для него звуки песенок, льющиеся из транзистора, который он прихватил с собой. Этот пример говорит лишь об одном: бывают объективные общественные обстоятельства, когда человек разучивается говорить. Разучивается говорить, т.е. обращаться к кому-то, отвечать кому-то, делать то, что мы называем разговором.

Между тем и здесь крайности проливают свет на среднее. Надо ведь учесть, что когда люди договариваются между собой, они создают общий для них язык, но ведь они и опираются при этом на общий язык. А когда люди отчуждаются друг от друга, то это сказывается в том, что они начинают говорить на разных языках (так и говорят), когда же они сближаются, то находят общий язык. И верно, трудно договориться, если нет общего языка. Но договариваться, и прекрасно, – это значит искать общий язык и в конце концов находить его. Вновь крайний случай: два человека, говорящих на разных языках, – они знают лишь по несколько слов другого языка, но ощущают внутреннюю потребность сказать что-то друг другу... Все же в практическом общении можно добиться и понимания, и, в конце концов, даже взаимосогласия. Точно так же и в частном разговоре, и в беседе на теоретические темы. Такая возможность символична: даже в тех случаях, когда, казалось бы, нет общего языка, благодаря выдержке, тактичности, взаимному расположению и терпимости, можно, безусловно, полагаясь на разум, нашу общую долю, добиться многого. Мы же постоянно видим, что между людьми с самыми разными темпераментами, с самыми различными политическими взглядами все же возможен разговор. Итак, «неспособность к разговору», пожалуй, это скорее упрек другому, который не желает следовать ходу твоих мыслей, нежели реальный недостаток этого другого.

Перевод Ал.В. Михайлова, 1991 г.

Цит. по: Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 82–92.

ДИСКУРС КАК КОММУНИКАТИВНОЕ СОБЫТИЕ

Выше указывалось, что дискурс, в широком смысле слова, является сложным единством языковой формы, значения и действия, которого могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта.

Преимущество такого понимания состоит в том, что дискурс, нарушая интуитивные или лингвистические подходы к его определению не ограничивается рамками конкретного языкового высказывания, т.е. рамками текста или самого диалога. Анализ разговора с особой очевидностью подтверждает это: говорящий и слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты социальной ситуации, несомненно, относятся к данному событию. В этом смысле беседа, собрание; слушание дела в суде, урок в классе – все они могут быть названы сложными коммуникативными событиями. Такие события можно далее расчленить на более мелкие коммуникативные акты, такие как история в разговоре, иск адвоката в суде, объяснение урока учителем в классе. Некоторые из этих явлений, например рассказы или дискуссии, могут проявлять качества, которые характерны для коммуникативных актов и дискурсов в другом социальном окружении.

В письменных или печатных типах дискурса такая интеракциональная природа этого явления менее заметна: писатель, текст, читатель находятся не в таком тесном взаимодействии в пределах единой ситуации, локализованной в пространстве и времени. Но даже и в этом случае следовало бы проанализировать тексты с точки зрения динамической природы их производства, понимания и выполняемого с их помощью действия. Например, анализ значения дискурса, который представляется нам очень важным, может до определенного момента ограничиваться отвлеченным описанием значения самого текста, но эмпирически было бы более правильным говорить о значениях, выраженных с помощью самого высказывания или созданных им, или о значениях, возникших в процессе публикации текста писателем, или о значениях, которые приписываются тексту или извлекаются из него читателем. В этом случае, при определении значения дискурса, нужно учитывать значения, общедоступные для участников коммуникации, знание языка, знание мира. Другие установки и представления. Следует добавить, что писатели создают формы и значения, которые предположительно понятны читателю или которые могут быть эксплицитно ему адресованы, которые возбуждают реакции и которые вообще ориентированы на получателя, как это происходит в разговоре. В случае письменной коммуникации писатели и читатели участвуют в процессе социо-культурного взаимодействия.

Все эти характеристики относятся и к текстам новостей. В узком смысле слова мы можем отвлеченно исследовать структуры сообщений новостей, определяемых в качестве особого вида социального дискурса. И все же (с этим более подробно мы ознакомимся ниже) рассматриваемые структуры новостей

могут быть адекватно поняты только в одном случае: если мы будем анализировать их как результат когнитивной и социальной деятельности журналистов по производству текстов и их значений, как результат интерпретации текстов читателями газет и телезрителями, производимой на основе опыта их общения со средствами массовой информации.

Однако было бы, вероятно, полезным различать когнитивную обработку текста или социальные параметры коммуникации, осуществляемой посредством текстов, с одной стороны, и структуры самих текстов массовой коммуникации, с другой.

Цит. по: ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 121–123.

О. МАНДЕЛЬШТАМ. О СОБЕСЕДНИКЕ

Скажите, что в безумце производит на вас наиболее грозное впечатление безумия? Расширенные зрачки – потому что они невидящие, ни на что в частности не устремленные, пустые. Безумные речи, потому что, обращаясь к вам, безумный не считается с вами, с вашим существованием, как бы не желает его признавать, абсолютно не интересуется вами. Мы боимся в сумасшедшем главным образом того жуткого абсолютного безразличия, которое он выказывает нам. Нет ничего более страшного для человека, чем другой человек, которому нет до него никакого дела. Глубокий смысл имеет культурное притворство, вежливость, с помощью которой мы ежеминутно подчеркиваем интерес друг к другу.

Обыкновенно человек, когда имеет что-нибудь сказать, идет к людям, ищет слушателей; – поэт же наоборот, – бежит «на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы». Ненормальность очевидна... Подозрение в безумии падает на поэта. И люди правы, когда клеймят именем безумца того, чьи речи обращены к бездушным предметам, к природе, а не к живым братьям. И были бы вправе в ужасе отмахнуться от поэта, как от безумного, если бы слово его действительно ни к кому не обращалось. Но это не так.

Да простит мне читатель наивный пример, но и с птичкой Пушкина дело обстоит не так уж просто. Прежде, чем запеть, она «гласу бога внимлет». Очевидно, ее связывает «естественный договор» с хрестоматийным богом – честь, о которой не смеет мечтать самый гениальный поэт... С кем же говорит поэт? Вопрос мучительный и всегда современный. Предположим, что некто, оставляя совершенно в стороне юридическое, так сказать, взаимоотношение, которым сопровождается акт речи (я говорю – значит, меня слушают и слушают не даром, не из любезности, а потому, что обязаны), обратил свое внимание исключительно на акустику. Он бросает звук в архитектуру души и, со свойственной ему самовлюбленностью, следит за блужданиями его под сводами чужой психики. Он учитывает звуковое приращение, происходящее от хорошей акустики, и называет этот расчет магией. В этом отношении он будет похож на «prestre Martin» средневековой французской пословицы, который сам служит мессе и слушает ее. Поэт не только музыкант, он же и Страдивариус, великий мастер по

фабрикации скрипок, озабоченный вычислением пропорций «коробки» – психики слушателя. В зависимости от этих пропорций – удар смычка или получает царственную полноту, или звучит убого и неуверенно. Но, друзья мои, ведь музыкальная пьеса существует независимо от того, кто ее исполняет, в каком зале и на какой скрипке! Почему же поэт должен быть столь предусмотрителен и заботлив? Где, наконец, тот поставщик живых скрипок для надобностей поэта – слушателей, чья психика равноценна «раковине» работы Страдивариуса? Не знаем, никогда не знаем, где эти слушатели... Франсуа Виллон писал для парижского сброда середины XV века, а мы находим в его стихах живую прелесть...

У каждого человека есть друзья. Почему бы поэту не обращаться к друзьям, к естественно близким ему людям? Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы. Спустя долгие годы, скитаясь по дюнам, я нахожу ее в песке, прочитываю письмо, узнаю дату события, последнюю волю погибшего. Я вправе был сделать это. Я не распечатал чужого письма. Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее. Нашел я. Значит, я и есть таинственный адресат.

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношении,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Читая стихотворение Баратынского, я испытываю то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка. Океан всей своей огромной стихией пришел ей на помощь, – и помог исполнить ее предназначение, и чувство провиденциального охватывает нашедшего. В бросании мореходом бутылки в волны и в посылке стихотворения Баратынским есть два одинаковых отчетливо выраженных момента. Письмо, равно и стихотворение, ни к кому в частности определенно не адресованы. Тем не менее оба имеют адресата: письмо – того, кто случайно заметил бутылку в песке, стихотворение – «читателя в потомстве». Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Баратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени.

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.
Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня,
Я ведь только облачко. Видите, плыву
И зову мечтателей... Вас я не зову!

Какой контраст представляет неприятный, заискивающий тон этих строк с глубоким и скромным достоинством стихов Баратынского. Бальмонт оправдывается, как бы извиняется. Непростительно! Недопустимо для поэта! Единственное, чего нельзя простить. Ведь поэзия есть сознание своей правоты. Горе тому, кто утратил это сознание. Он явно потерял точку опоры. Первая строка убивает всё стихотворение. Поэт сразу определенно заявляет, что мы ему неинтересны:

Я не знаю мудрости, годной для других.

Неожиданно для него, мы платим ему той же монетой: если мы тебе не интересны, и ты нам не интересен. Какое мне дело до какого-то облачка, их много плавает... Настоящие облака, по крайней мере, не издеваются над людьми. Отказ от «собеседника» красной чертой проходит через поэзию, которую я условно называю бальмонтовской. Нельзя третировать собеседника: непонятый и непризнанный, он жестоко мстит. У него мы ищем санкции, подтверждения нашей правоты. Тем более поэт. Заметьте, как любит Бальмонт ошеломлять прямыми и резкими обращениями на «ты»: в манере дурного гипнотизера. «Ты» Бальмонта никогда не находит адресата, проносясь мимо, как стрела, сорвавшаяся со слишком тугой тетивы.

И как нашел я друга в поколеньи,

Читателя найду в потомстве я.

Проницательный взор Баратынского устремляется мимо поколения, — а в поколении есть друзья, — чтобы остановиться на неизвестном, но определенном «читателе». И каждый, кому попадутся стихи Баратынского, чувствует себя таким «читателем» — избранным, окликнутым по имени... Почему же не живой конкретный собеседник, не «представитель эпохи», не «друг в поколеньи»? Я отвечаю: обращение к конкретному собеседнику обескрыливает стих, лишает его воздуха, полета. Воздух стиха есть неожиданное. Обращаясь к известному, мы можем сказать только известное. Это — властный, неколебимый психологический закон. Нельзя достаточно сильно подчеркнуть его значение для поэзии.

Страх перед конкретным собеседником, слушателем из «эпохи», тем самым «другом в поколеньи», настойчиво преследовал поэтов во все времена. Чем гениальнее был поэт, тем в более острой форме болел он этим страхом. Отсюда пресловутая враждебность художника и общества. Что верно по отношению к литератору, сочинителю, абсолютно неприменимо к поэту. Разница между литературой и поэзией следующая: литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи. Даже если он пророчествует, он имеет в виду современника будущего. Литератор обязан быть «выше», «превосходнее» общества. Поучение — нерв литературы. Поэтому для литератора необходим пьедестал. Другое дело поэзия. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть выше своей эпохи, лучше своего общества для него не обязательно. Тот же Франсуа Виллон стоит гораздо ниже среднего нравственного и умственного уровня культуры XV века.

Ссору Пушкина с чернью можно рассматривать как проявление того антагонизма между поэтом и конкретным слушателем, который я пытаюсь отме-

тить. С удивительным беспристрастием Пушкин предоставляет черни оправдаться. Оказывается, чернь не так уж дика и непросвещенна. Чем же провинилась эта очень деликатная и проникнутая лучшими намерениями «чернь» перед поэтом? Когда чернь оправдывается, с языка ее слетает одно неосторожное выражение: оно- то переполняет чашу терпения поэта и распаляет его ненависть.

А мы послушаем тебя – вот это бестактное выражение. Тупая пошлость этих, казалось бы, безобидных слов очевидна. Недаром поэт именно здесь, негодую, перебивает чернь... Отвратителен вид руки, протянутой за подаванием, и ухо, которое насторожилось, чтобы слушать, может расположить к вдохновению кого угодно – оратора, трибуна, литератора – только не поэта... конкретные люди, «обыватели поэзии», составляющие «чернь», позволяют «давать им смелые уроки» и вообще готовы выслушать что угодно, лишь бы на посылке поэта был обозначен точный адрес. Так дети и простолюдины чувствуют себя польщенными, читая свое имя на конверте письма. Бывали целые эпохи, когда в жертву этому далеко не безобидному требованию приносились прелесть и сущность поэзии. Таковы ложногражданская поэзия и нудная лирика восьмидесятых годов. Гражданское и тенденциозное направление прекрасно само по себе:

Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан –

отличный стих, летящий на сильных крыльях к провиденциальному собеседнику. Но поставьте на его место российского обывателя такого-то десятилетия, насквозь знакомого, заранее известного, – и вам сразу станет скучно.

Да, когда я говорю с кем-нибудь, – я не знаю того, с кем я говорю, и не желаю, не могу желать его знать. Нет лирики без диалога. А единственное, что толкает нас в объятия собеседника, – это желание удивиться своим собственным словам, плениться их новизной и неожиданностью. Логика неумолима. Если я знаю того, с кем я говорю, – я знаю наперед, как отнесется он к тому, что я скажу, – что бы я ни оказал, а следовательно, мне не удастся изумиться его изумлением, обрадоваться его радостью, полюбить его любовью. Расстояние разлуки стирает черты милого человека. Только тогда у меня возникает желание сказать ему то важное, что я не мог сказать, когда владел его обликом во всей его реальной полноте. Я позволю себе формулировать это наблюдение так: вкус сообщительности обратно пропорционален нашему реальному знанию о собеседнике и прямо пропорционален стремлению заинтересовать его собой. Не об акустике следует заботиться: она придет сама. Скорее о расстоянии. Скучно перешептываться с соседом. Бесконечно нудно буравить собственную душу. Но обмениваться сигналами с Марсом – задача, достойная лирики, уважающей собеседника и сознающей свою беспричинную правоту. Эти два превосходных качества поэзии тесно связаны с «огромного размера дистанцией», какая предполагается между нами и неизвестным другом – собеседником.

Друг мой тайный, друг мой дальний,
Посмотри.
Я – холодный и печальный
Свет зари...
И холодный и печальный
Поутру,
Друг мой тайный, друг мой дальний,
Я умру.

Этим строкам, чтобы дойти по адресу, требуется астрономическое время, как планете, пересылающей свой свет на другую.

Итак, если отдельные стихотворения (в форме посланий или посвящений) и могут обращаться к конкретным лицам, поэзия, как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усомнившись в себе. Только реальность может вызвать к жизни другую реальность.

Дело обстоит очень просто: если бы у нас не было знакомых, мы не писали бы им писем и не наслаждались бы психологической свежестью и новизной, свойственной этому занятию.

Цит. по: Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 48–54.

О. РОЗЕНШТОК-ХЮССИ. ПРАВО ЧЕЛОВЕКА ГОВОРИТЬ

1. ГОВОРЯТ ВСЕ

<...>

В лингвистике недостаточно иметь теорию о языке. Ведя разговор о разговоре, держа речь о речи и письменно изъясняясь о письме, я нахожусь в этот момент в положении куда более трудном и рискованном, чем зоолог, думающий о жабе. Жаба не слушает лекций, который зоолог читает о жабах. Но ведь сам-то я, будучи говорящим индивидом, отлично слышу свои собственные речи о речи. Человек внутри меня, который хочет говорить и имеет свободу речи, прислуживается к моим тирадам о смысле речи. Заученные понятия, предлагаемые моим «высоколобым» ученым Эго, должны вызвать в моем «низколобом» смертном «я» чувство безопасности. Последнее слово в грамматике будет сказано только тогда, когда каждое человеческое существо, живущее под луной, сумеет осознать и признать, что этим словом защищено его собственное врожденное право на свободную речь.

Но разве человек не является в достаточной мере самим собой и без речи? Прибавляет ли ему речь что-либо помимо способности говорить? Является ли речь чем-то большим, чем инструмент? Человек ест, спит, переваривает пищу, совокупляется, трудится; он сначала молод, потом стареет по законам биологии. Разве этого недостаточно? Почему этого недостаточно? Каждый знает, что этого мало. Но если спросить, почему, человек, как правило, начинает запи-
наться и впадает в сомнения.

Существует один простой довод в пользу ответа «нет». Одной биологии мало потому, что мы нуждаемся в самореализации. Личинку насекомого мы не зовем именем целого существа. Не назовем мы этим именем и бабочку. Насекомое – это все фазы его жизни вместе взятые. Только взаимопричастность всех моментов жизни создает подлинную действительность. Стало быть, «мужчина» или «женщина» в нас – это еще не подлинный человек. Седой старик – это еще не весь человек; то же и ребенок. Подлинное, действительное «настоящее» в нас всегда вмещает в себя больше, чем какой бы то ни было биологический компонент. И мы жаждем стать «подлинными». Каждый призван реализовать себя и каждый заявляет свое право на это. Противоречие между нашим физическим строением – мужчины или женщины, «каждой твари по паре» – и нашим притязанием на то, чтобы быть людьми, редко учитывается в философии языка.

<...>

<...> Чтобы обрести цельное существование, нужно обладать большей внутренней силой и более тонким пониманием жизненных связей. Однажды группа педагогов пыталась определить, что значит быть гражданином. Один из них сказал, вызвав всеобщее одобрение: гражданин – это человек, который работает на доходном месте. Это было до того, как наши граждане пошли записываться в ополчение. Из приведенной дефиниции видно, что даже наши учителя-преподаватели были в 30-е годы чистокровными марксистами, для которых средний человек – только рабочая сила. Гражданин – это, конечно, не тот человек, который работает на доходном месте, гражданин – тот, кто живет и работает так, как если бы он сам был основателем дела, которому он служит, законодателем общности или «града», где он нашел свое место. И вот именно эта способность приобретается человеком посредством речи.

«Граду» должны мы принадлежать, чтобы быть людьми. Ежедневно и ежечасно нуждаемся мы в этой своей принадлежности, которая на самом деле должна вмещать в себя всю полноту реальности, внутренний мир человеческого сознания и внешний мир вселенной. Человек требует свободы во всех направлениях своей самореализации. Каждый индивид ощущает, что причастность к древнейшему источнику всего человеческого и к злободневнейшим политическим событиям сегодняшнего дня, ко всем этим сокровищам действительности – это неотъемлемая часть его билля о правах. Отсюда и всеобщее право людей на речь – равенство, которым всякое сообщество одаривает своих членов.

Пользуясь словами живого языка, каждый член сообщества приобщается всему, что когда-либо было сказано в орбите его социальной группы, как бы играючи заучивает опыт, удержанный в речи других людей. Вбирая в себя напominания обо всем, что когда-либо оседало или кристаллизовалось в памяти сообщества, он становится носителем памяти своей нации или своего племени. Так, слепой певец как некая мембрана способен оживить своим словом века греческой истории; или человек, давно потерявший работу, еще сегодня может дрожащим от волнения голосом рассказать нам сказку о дворце или ферме своей мечты, потрясающую гомеровскую историю о том, чего не было, не могло

быть. Или юный студент, своими песнями вселяющий мужество, действительно нужное его сообществу для решения больших грядущих задач. Слова и ритм его песен утверждают и каким-то образом предсказывают его жизнь, в которой им суждено пройти проверку на подлинность.

Рассмотрим теперь структуру любого языка. Не чудо ли великое, что язык дает возможность женщине цитировать слова мужчин, а Ребенку воспринять мысли дряхлого старца? Величие эпоса или волшебной сказки, народных песен или сказаний заключается в том, что они воспринимаются каждым. Коль скоро родной язык получил Распространение в некотором сообществе, каждый приобретает способность и компетентность во всем, что пел или думал на этом языке другой человек, и извлекает из всего этого собственную энергию. Мой Родной язык не есть поэтому язык одной моей матери (the mother's tongue), это – язык моей родины-матери (the mother tongue): разница огромная, в иных случаях мучительная. Физически мы – дети своей матери. Духовно, однако, наш национальный язык и есть наш родной язык. Это – матрица, где вместо «родной язык» мы могли бы сказать «речевое сознание родины» (the mother mind), реформаторами (the reminders) которого мы являемся. Мы воспринимаем, воспроизводим, воссоединяем все, что когда бы то ни было вызывалось к существованию этим матричным сознанием. Конечно, такое развивающее традиции воспоминание на деле мы зачастую реализуем вполне по-дурацки; живая память может вырождаться в механическое цитатничество и начетничество, однако родной язык всегда оставляет возможность возобновить, возродить прерванный живой процесс, который делает нас законными наследниками речевого родника сознания своей родины. Мы можем выучить мир вещей «наизусть» (by heart). Если мы научились говорить наизусть, от сердца, владения данного языка перестают быть для нас только внешним фактом. Внутри любого языка непрерывно совершаются миллионы событий, осуществляя метаболизм и ретрансляцию всех, когда-либо произнесенных слов, поскольку врожденное право каждого человека – памятью сердца (by heart) быть причастным к великому дару объединяющей нас речи.

Мы говорим о даре, который дан каждому индивиду, а не просто о сокровищнице языка. От слова «сокровище» за версту несет залежалым товаром, гниющим на складе. Образование или цивилизацию слишком часто понимают как сокровища, упрятанные в библиотеку и в музеи. Между тем то, что выпадает на нашу долю – дар удачный, а равно и неудачный – это расчищать себе путь сквозь язык, впуская его в себя, а затем снова отдавая его вовне. «Язык – средство общения»: это – одно из самых тривиальных определений речи, но оно передает все же загадочнейшее свойство языка, как правило, не осознаваемое теми, кто пользуется этим определением. В нем ведь не утверждается, что человек понимает другого, когда тот говорит; утверждается только, что один человек понимает то, что говорит другой человек.

Так как мне может быть не под силу сказать, благодаря чему я мог бы быть понят (а кому это под силу?), первое, что мы узнаем о любом высказывании, – это то, что язык понимают или разделяют как минимум два собеседника:

А в такой же мере, как и В. Когда я вижу двух человек, беседующих друг с другом на улице, я вполне могу усомниться в том, что они и впрямь хотят понять друг друга. Было бы легкомысленно приписывать им намерение, которого у них не было в помине. Они просто хотят поговорить друг с другом, ни больше, ни меньше. Лишь в редкие моменты мы пользуемся языком для того, чтобы узнать и признать друг друга в духе и по истине, и раскрыться, не ставя никаких условий.

Всякий разумный человек знает, что мы понимаем друг друга изнутри только в том случае, если любовь или ненависть, солидарность или вражда откроют нам глаза на нашего *vis-a-vis*. Проникая таким образом друг в друга, мы всякий раз переживаем возвышенный миг рождения нового языка и образования новых человеческих слов. Когда же эти подлинные силы любви или враждебности не посещают мою душу, я пользуюсь языком иначе, как получится, и именно в эти периоды расслабленности и бездумности язык и речь для меня безгранично ценны. Теперь они, правда, не раскрывают меня, поскольку я бездельничаю, но они раскрывают моему собеседнику тот общий для нас фон восприятий, ассоциаций, оценок, который вообще делает возможной нашу беседу. Разговор, там, где он на самом деле возможен, порождает согласие и приятие, потому что самими согласием и приятием уже порожден, а потому и возможен. Такой дружеский разговор соединяет меня с другим, не моею духовной основой, а, так сказать, общими корнями. По этой причине уметь разговаривать друг с другом – это не так уж мало, хотя для самих собеседников это может быть всего лишь ничего не значащий разговор о погоде. Мы не в состоянии все время быть личностями, то есть мы не можем непрерывно любить или ненавидеть. Но тогда в каком смысле и в какой мере мы все-таки живем в эти долгие промежуточные периоды? Мы живем тогда волевым напором традиций прошлого, которое воспроизводим в качестве предличностного и общего для нас наследия всякий раз, когда пользуемся в разговоре готовыми фразами родного языка. Конечно, открывая рот, чтобы что-то сказать, мы уже как-то открываем свою душу. Но ведь разговаривать вовсе не означает все время «открывать душу». Мы говорим друг другу «Это прелесть, не правда ли?», или «Отлично!», или «Превосходно!», Или еще что-то в том же роде и остаемся все же рупорами истины, так предоставляя доброму старому родному языку говорить через нас. Сердцам, говорившим до нас, дозволено говорить через нас – вместо нашего собственного сердца.

Мы не так часто поем новые песни, зато мы любим вспоминать и повторять старые. Говорить – значит или создавать, или цитировать и в той мере, в какой мы сохраняем существующий язык, каждый из нас достоин уважения в качестве гигантской трансляционной сети, через которую передаются все выражения общей воли. Подобно шелесту листьев вяза, язык обладает отзвуками, шепотом, невнятным бормотанием. Все эти голоса и звуки артикулируют скрытую волю общности. Почему все мыслители ищут систему? Потому что они верят, что если один человек сможет-таки стать голосом всего языка, тогда у нас будет самая верная система, содержащая, с одной стороны бесконечное разно-

образе, а с другой – бесконечное единодушие. Говорить – значит верить в единодушие. Это можно продемонстрировать на примере того удивительного факта, что всякий язык притворяется завершенным. Содержит ли он восемьсот слов или восемьдесят тысяч – говорящие на нем в любом случае наивно полагают, что они могут выразить на этом языке все, что угодно.

Цит. по: Розениток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994. С. 165–171.

В.И. КАРАСИК. ЯЗЫКОВОЙ КРУГ: ЛИЧНОСТЬ, КОНЦЕПТЫ, ДИСКУРС

НАУЧНЫЙ ДИСКУРС

Научный дискурс традиционно привлекает к себе внимание лингвистов. Участниками научного дискурса являются исследователи как представители научной общественности, при этом характерной особенностью данного дискурса является принципиальное равенство всех участников научного общения в том смысле, что никто из исследователей не обладает монополией на истину, а бесконечность познания заставляет каждого ученого критически относиться как к чужим, так и к своим изысканиям. В научном сообществе принято Уважительное обращение «коллега», нейтрализующее все статусные признаки. Вместе с тем ученые отличаются своим стремлением устанавливать различные барьеры для посторонних, степени научной квалификации, академические звания и членство в престижных научных сообществах. Диада «агент – клиент», удобная для описания участников других видов институционального дискурса, в научном дискурсе нуждается в модификации. Дело в том, что задача ученого – не только добыть знания, оценить их и сообщить о них общественности, но и подготовить новых ученых. Поэтому ученые выступают в нескольких ипостасях, обнаруживая при этом различные статусно-ролевые характеристики: ученый-исследователь, ученый-педагог, ученый-эксперт, ученый-популяризатор. Клиенты научного дискурса четко очерчены только на его периферии, это широкая публика, которая читает научно-популярные журналы и смотрит соответствующие телепередачи, с одной стороны, и начинающие исследователи, которые проходят обучение на кафедрах и в лабораториях, с другой стороны.

Хронотопом научного дискурса является обстановка, типичная для научного диалога. Диалог этот может быть устным и письменным, поэтому для устного дискурса подходят зал заседаний, лаборатория, кафедра, кабинет ученого, а для письменного прототипным: местом является библиотека.

<...>

Ценности научного дискурса сконцентрированы в его ключевых концептах (истина, знание, исследование), сводятся к признанию познаваемости мира, к необходимости умножать знания и доказывать их объективность, к уважению к фактам, к беспристрастности в поисках истины («Платон мне друг, но истина дороже»), к высокой оценке точности в формулировках и ясности мышления. Эти ценности сформулированы в изречениях мыслителей, но не выражены в

специальных кодексах; они вытекают из этикета, принятого в научной среде, и могут быть сформулированы в виде определенных оценочных суждений: Изучать мир необходимо, интересно и полезно; Следует стремиться к раскрытию тайн природы; Следует систематизировать знания; Следует фиксировать результаты исследований (отрицательный результат тоже важен); Следует подвергать все сомнению; Интересы науки следует ставить выше личных интересов; Следует принимать во внимание все факты; Следует учитывать достижения предшественников («Мы стоим на плечах гигантов») и т.д.

Оценочный потенциал ключевого для научного дискурса концепта «истина» сводится к следующим моментам: истина требует раскрытия, она неочевидна, путь к истине труден, на пути к истине возможны ошибки и заблуждения, сознательное искажение истины подлежит осуждению, раскрытие истины требует упорства и большого труда, но может прийти и как озарение, истина независима от человека. Истина сравнивается со светом, метафорой абсолютно-го блага. Истина едина, а путей к ней множество. Истине противопоставляется ложь и видимость истины. В русском языке осмысление истины зафиксировано в диаде «правда – истина» (см.: Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995). Системным контекстом для концепта «истина» выступает совокупность оппозитивных концептов «правда», «заблуждение», «ложь», «фантазия», «вранье» [1995: 24]. Для научного дискурса актуальным является доказательство отклонения от истины, т.е. доказательство заблуждения. Способы такого доказательства детально разработаны в логике.

Стратегии научного дискурса определяются его частными целями:

- 1) определить проблемную ситуацию и выделить предмет изучения,
- 2) проанализировать историю вопроса,
- 3) сформулировать гипотезу и цель исследования,
- 4) обосновать выбор методов и материала исследования,
- 5) построить теоретическую модель предмета изучения,
- 6) изложить результаты наблюдений и эксперимента,
- 7) прокомментировать и обсудить результаты исследования,
- 8) дать экспертную оценку проведенному исследованию,
- 9) определить область практического приложения полученных результатов,
- 10) изложить полученные результаты в форме, приемлемой для специалистов и неспециалистов (студентов и широкой публики). Эти стратегии можно сгруппировать в следующие классы: выполнение, экспертиза и внедрение исследования в практику.

Стратегии научного дискурса реализуются в его жанрах (научная статья, монография, диссертация, научный доклад, выступление на конференции, стендовый доклад, научно-технический отчет, рецензия, Реферат, аннотация, тезисы). Письменные жанры научного дискурса Достаточно четко противопоставляются по признаку первичности / вторичности (статья – тезисы), ведутся дискуссии по поводу того, что считать прототипным жанром научного дискурса – статью или Монографию, дискуссионным является и вопрос о том, отно-

сится ли вузовский учебник к научному дискурсу; устные жанры данного дискурса более размыты. Выступление на конференции меняется по своей тональности в зависимости от обстоятельств (пленарный доклад секционное выступление, комментарий, выступление на заседании круглого стола и т.д.). Л.В. Красильникова [1999] рассматривает жанр научной рецензии и выделяет важнейшие функции этого жанра – репрезентацию научного произведения и его критическую оценку. Соотношение этих функций в тексте конкретной рецензии в значительной мере обусловлено фактором адресата: для читателя, незнакомого с рецензируемым текстом, важно получить представление об этом тексте, и поэтому такая рецензия должна включать элементы реферативного обзора, в то время как для специалистов в определенной области науки (и для автора, произведение которого рецензируется) нужна оценка выполненной работы. Существенное изменение в жанровую систему научного дискурса вносит компьютерное общение, размывающее границы формального и неформального дискурса в эхо-конференциях. Следует отметить, что стратегии дискурса являются ориентирами для формирования текстовых типов, но жанры речи кристаллизуются не только в рамках дедуктивно выделяемых коммуникативных институциональных стратегий, но и в соответствии со сложившейся традицией. Чисто традиционным является, например, жанр диссертаций, поскольку для определения уровня научной квалификации автора вполне достаточно было бы обсудить совокупность его публикаций. Но в качестве ритуала, фиксирующего инициацию нового члена научного сообщества, защита диссертации в ее нынешнем виде молчаливо признается необходимой. Ритуал, как известно, является важным способом стабилизации отношений в социальном институте.

Тематика научного дискурса охватывает очень широкий круг проблем, принципиально важным в этом вопросе является выделение естественнонаучных и гуманитарных областей знания. Гуманитарные науки менее формализованы и обнаруживают сильную зависимость объекта познания от познающего субъекта (показательно стремление философов противопоставлять научное и философское знание).

Научный дискурс характеризуется выраженной высокой степенью интертекстуальности, и поэтому опора на прецедентные тексты и их концепты [Слышкин, 2000] для рассматриваемого дискурса является одним из системообразующих признаков. Интертекстуальные связи применительно к тексту научной статьи представлены в виде цитат и ссылок и выполняют референционную, оценочную, этикетную и декоративную функции [Михайлова, 1999]. Прецедентными текстами для научного дискурса являются работы классиков науки, известные многим цитаты, названия монографий и статей, прецедентными становятся и иллюстрации, например, лингвистам хорошо известны фразы «Colourless green ideas sleep furiously» и «Flying planes can be dangerous», используемые в работах по генеративной грамматике.

Под дискурсивными формулами понимаются своеобразные обороты речи, свойственные общению в соответствующем социальном институте. Эти формулы объединяют всех представителей научной общественности, вместе с

тем существуют четкие ориентиры, позволяющие, например, во многих случаях отличить литературоведческое исследование от лингвистического. Сравним: «Итак, на конкретном историко-культурном фоне Йейтс свободно находит символы для своего поэтического воображения. Словно архитектор, он построил новую Византию с помощью собственных образов, переданных в условных рамках символизма» и «В художественном тексте разноуровневые знаки (от звука до текста) получают смысловые приращения, не представленные необходимо в их «дотекстовой» семантике». Стремление к максимальной точности в научном тексте иногда приводит авторов к чрезмерной семантической (терминологической) и синтаксической усложненности текста. Вместе с тем следует отметить, что научное общение предполагает спокойную неторопливую беседу и вдумчивое чтение, и поэтому усложненный текст в научном дискурсе оптимально выполняет основные дискурсивные функции: на максимально точном уровне раскрывает содержание проблемы, делает это содержание недоступным для недостаточно подготовленных читателей (защита текста) и организует адекватный для обсуждения данной проблемы темп речи. Дискурсивные формулы конкретизируются в клише, например, в жанре рецензий: «Высказанные замечания, разумеется, не ставят под сомнение высокую оценку выполненной работы».

Цит. по: Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. С. 276–280.

У. ЭКО. КАК НАПИСАТЬ ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

О НАУЧНОМ СМИРЕНИИ

Не пугайтесь названия этого раздела. Я не имею в виду ваш моральный облик. Я имею в виду ваш подход к источникам и к их конспектированию.

Вы видели на примере конспект-карточек, что я, будучи еще незрелым филологом, посмеялся над каким-то исследователем и в два счета с ним разделался. До сих пор я убежден, что поступил тогда правильно и в любом случае мы квиты, потому что и он в два счета разделался со значительной темой. Но подобный случай, во-первых, достаточно нетипичен, а во-вторых, я все же и этого ученого законспектировал и вроде бы прислушался к его суждению. И не только из тех соображений, что надо учитывать все сказанное по нашей узкой тематике, но и потому, что не всегда наилучшие идеи приходят от наикрупнейших знатоков вопроса. Вот, к примеру, случай из моей практики: аббат Балле.

Чтобы рассказывать по порядку, следует познакомить вас с некоторыми аспектами той моей давнишней работы. В течение года мой диплом буксовал из-за одной неувязки. Дело в том, что сегодняшняя эстетика считает перцепцию прекрасного интуитивной. Но для святого Фомы категория интуитивного не существовала. В нашем веке многие исследователи пытались доказать, что Фо-

ма в каких-то высказываниях подразумевал интуитивность, но они насиловали материал. При этом перцепция предметов вообще являлась для Фомы моментом столь стремительным и мгновенным, что непонятно, как могло осуществляться наслаждение эстетическими качествами, которые чрезвычайно сложны: игра пропорции, взаимосвязь между сущностью вещей и тем образом, которым эта сущность организует материю, и так далее.

Выход из противоречия таился (я нашел его для себя за месяц до защиты диплома) в открытии, что эстетическое созерцание опиралось на гораздо более сложное действие – суждение. Но у Фомы не говорится об этом открытым текстом. И тем не менее он говорит об эстетическом созерцании таким образом, что невозможно не прийти именно к этому выводу. Цель интерпретации часто сводится к процессу выуживания из автора ответа на вопрос, который ему пока не задавали, но если бы задали, автор не мог бы отвечать никаким другим образом. Иными словами: сопоставляя различные утверждения, надо демонстрировать, как из логики исследуемой мысли сам собою вытекает единственно мыслимый ответ.

Авторы, бывает, не высказываются напрямую лишь по причине, что смысл кажется им слишком очевидным. Или, в случае святого Фомы, иное: для него было неестественно размышлять на эстетические темы, он затрагивал эти вопросы лишь мимоходом, подразумевая их однозначность.

Из-за этого я находился в тупике. И никто из читаемых мною критиков и философов не помогал из него выйти. В то же время единственным настоящим оригинальным аспектом моего исследования была именно эта проблема – вкупе, разумеется, с разгадкой, которую предстояло отыскать. В тщетных поисках озарения я натолкнулся на каком-то развале в Париже на брошюрку, которая меня очаровала, в первый момент, своим прекрасным переплетом. Раскрыв книжку, я увидел, что ее автор – некий аббат Балле, называется она «Идея прекрасного в философии Фомы Аквинского», Лувен, 1887. Ее не было ни в одной библиографии. Автор – малоизвестный исследователь девятнадцатого века. Разумеется, я купил эту брошюру (стоила она недорого). Читаю, вижу, что на аббата Балле жалею и этой суммы, что он повторяет общие места, ничего от себя не добавляет. Тем не менее я решил дочитать до конца. (Из научного смирения, но я тогда не знал, что это так называется; я научился научному смирению именно на этом эпизоде.) Аббат Валле изменил мою жизнь, подумать только, ну и казус.

Короче говоря, я читал из чистого упрямства. И в один прекрасный Момент, в какой-то скобке, более чем походя, этот аббат, абсолютно не понимая масштаба своего открытия, что-то произносит насчет теории суждения в применении к понятию красоты. Эврика! Вот что я искал так долго. И где нашел? У этого ничтожного аббата! Он умер сто лет назад, за сто лет никто о нем не вспомнил, и тем не менее он с того света озарил ум одного из потомков, который захотел в него внимательно вчитаться.

Вот вам пример научного смирения. Полезное можно перенять откуда угодно. Часто мы не настолько талантливы, чтоб уметь перенимать полезное от

тех, кто бездарнее нас. Или кто только кажется бездарнее, а на самом деле его одаренность надо уметь рассмотреть. Кому-то кажется бездарным, а нам наоборот... Надо уметь уважительно вслушиваться. Поменьше оценочных суждений. Тем более когда чей-то стиль мышления отличается от нашего, или отличается идеология.

У заклятого противника можно взять блестящие идеи. Все зависит от настроения, от погоды, от степени усталости. Может, попадись мне аббат Валле на год раньше, я бы его открытия не разглядел. Но на этом случае я научился не пренебрегать никакой, даже самой ничтожной, возможностью.

Зовя это научным смирением, мы, возможно, прослышем лицемерными: уничижение паче гордости. Давайте без моральных ярлыков! Уничижение так уничижение, гордость как гордость, почаще применяйте это на практике.

Цит. по: Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. СПб., 2004. С. 204–207.

М. ЭПШТЕЙН. ЗНАК ПРОБЕЛА: О БУДУЩЕМ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

О НАУКЕ. МАССА ЗНАНИЯ, ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ

Знание – это овеществленное, «прошрое» мышление, как фабрики, станки и другие средства производства, в терминах экономики, есть прошлый труд. Всегда есть опасность, что в научно- образовательных, академических учреждениях, профессионально занятых выработкой и распространением знаний, запас прошлой мысли начнет преобладать над энергией живого, «незнающего» мышления. Основная задача научной и академической работы обычно определяется как исследование (research): «тщательное, систематическое, терпеливое изучение и изыскание в какой-либо области знания, предпринятое с целью открытия или установления фактов или принципов».

Исследование – важная часть научного труда, но далеко не единственная. Любая частица знания есть результат мышления и предпосылка дальнейших мыслительных актов, которые от познания сущего ведут к созданию чего-то небывалого. Как уже говорилось, мышление приобретает форму знания, когда адаптирует себя к определенному предмету. Но следующим своим актом мышление распредмечивает это знание, освобождает его элементы от связанности, приводит в состояние свободной игры, потенциальной сочетаемости всего со всем и тем самым конструирует ряд возможных, виртуальных предметов. Некоторые из них, благодаря искусству, технике, социально-политической практике, становятся предметами окружающей среды, которую мышление таким образом адаптирует к себе.

Обращаясь к конкретному содержанию научной работы, следует определять ее достоинство как мерой охваченного знания, так и мерой его претворения в мысль, точнее соотношением этих двух мер. Должна ли научная работа содержать ссылки на все наличные источники? В принципе, больше ссылок

лучше, чем меньше. Но лучше и концептуальный охват большего материала, чем меньшего. А когда охватываешь большой материал, тогда и ссылок на конкретные его разделы приходится меньше. Жизнь ученого коротка, а возможности науки беспредельны, вот и приходится соразмерять проработку деталей с широтой замысла. То, что Фолкнер сказал о писателе Томасе Вулфе: он самый великий из нас, потому что потерпел самое грандиозное из поражений, – можно отнести и к ученому. Разве не поражение – попытка Эйнштейна силой мысли создать общую теорию поля, для которой у него – да и у самой науки – не было и нет достаточно знаний? Такое большое поражение стоит многих маленьких побед.

Науку делают не всезнайки, а люди, которые остро переживают нехватку знаний, ограниченность своего понимания вещей. Чистой воды эрудиты, которые знают свой предмет вдоль и поперек, не так уж часто вносят творческий вклад в науку, в основном ограничиваясь публикаторской, комментаторской, архивной, библиографической деятельностью (безусловно, полезной и необходимой). Во-первых, поскольку они знают о своем предмете все, им уже больше нечего к этому добавить; во-вторых, знать все можно только о каком-то ограниченном предмете, а большая наука требует сопряжения разных предметов и областей. Можно, например, знать все о жизни и творчестве А. Пушкина или Ф. Достоевского, Б. Пастернака или М. Булгакова. Но нельзя знать всего о пастернаковском стиле, видении, мироощущении, о его месте в русской мировой литературе – это проблемные области, требующие концептуального, конструктивного мышления. Беда многих чистых эрудитов в том, что они не ощущают проблемы, они стоят твердо на почве своего знания и не видят рядом бездны, которую можно перейти только по мосткам концепций, мыслительных конструкций. Наука начинается там, где кончается знание и начинается неизвестность, проблемность. Такой взгляд на науку идет от Аристотеля. «Ибо и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать и недоумевающий и удивляющийся считает себя незнающим» («Метафизика», кн. 1, гл. 2). В идеале ученому нужно приобретать сколь можно больше знаний, но не настолько, чтобы утратить способность удивления.

В науке есть разные слои и уровни работы: (1) наблюдение и собирание фактов, (2) анализ, классификация, систематизация, (3) интерпретация фактов и наблюдений, поиск значений, закономерностей, выводов, (4) генерализация и типология, создание обобщающей концепции или характеристики (например, данного писателя, эпохи, тенденций, национальной или мировой литературы и т.д.), (5) методология, изучение разных методов анализа, интерпретации, генерализации, (6) парадигмальное мышление – осознание тех предпосылок, познавательных схем и «предрассудков», на которых зиждется данная дисциплина или ее отдельные методы, и попытка их изменить, установить новое видение вещей (то, о чем пишет Т. Кун в «Структуре научных революций»).

Было бы идеально, если бы на всех этих уровнях наука двигалась синхронно и параллельно: нашел новые факты – дал новую интерпретацию – создал новую парадигму. Но в том-то и суть, что научные революции происходят иначе. Многие известные факты начинают просто игнорироваться, потому что они мешают пониманию иных, ранее не замеченных фактов, само восприятие которых делается возможным только благодаря новой парадигме. А она в свою очередь уже меняет восприятие и ранее известных фактов – или даже меняет сами факты! Так, по словам Т. Куна, «химики не могли просто принять [атомистическую] теорию Дальтона как очевидную, ибо много фактов в то время говорило отнюдь не в ее пользу. Больше того, даже после принятия теории они должны были биться с природой, стараясь согласовать ее с теорией. Когда это случилось, даже процентный состав хорошо известных соединений оказался иным. Данные сами изменились».

Если такое происходит в точнейших науках, то что же говорить о гуманитарных, где парадигмы гораздо более размыты, не организуют так жестко профессиональное сообщество: новые видения вспыхивают у разных авторов, не приводя к научным революциям, а научные революции не мешают живучему прозябанию самых традиционных отраслей «нормальной» науки (архивные, библиографические изыскания...).

История науки показывает, что множество идей, обновлявших научную картину мира, возникало не в ладу с известными тогда фактами, а в резком столкновении с ними. Вот почему философ и методолог науки Поль Фейерабенд формулирует правило контриндукции, «рекомендующее нам вводить и разрабатывать гипотезы, которые несовместимы с хорошо обоснованными теориями и фактами». К сожалению, гуманитариям это правило контриндукции известно еще меньше, чем ученым-естественникам, хотя именно гуманитарные науки способны к более частным парадигмальным прорывам, отстранениям и озарениям, ввиду неустойчивости и размытости их собственных парадигм. И далее Фейерабенд настаивает: «контрправило», рекомендующее разрабатывать гипотезы, несовместимые с наблюдениями, фактами и экспериментальными результатами, не нуждается в особой защите, так как не существует ни одной более или менее интересной теории, которая согласуется со всеми известными фактами»¹. Такое несоответствие фактов и концепций динамизирует поле науки, позволяет обнаруживать новые факты и пересматривать старые.

Итак, ограничивать научную или академическую деятельность сферой познания, т.е. накопления и умножения знаний (фактов, закономерностей, наблюдений и обобщений), – значит упускать то целое, частью которого является знание. Правильнее было бы определить задачу научных и академических учреждений не как исследование, а как мышлечение, интеллектуальную деятельность в форме познания и мышления, т.е. (1) установление наличных фактов и принципов и (2) производство новых понятий и идей, которые могут продуктивно использоваться в развитии цивилизации. Знание есть информация о на-

личных фактах и связях мироздания; мышление – трансформация этих связей, создание новых идей и представлений, которые в свою очередь могут быть превращены в предметы, свойства, возможности окружающего мира. Мышление перерабатывает известные факты, превращает их в фикции, чтобы некоторые из этих фикций могли стать новыми фактами.

*Цит. по: Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук.
М., 2004. С. 46–51.*

ЕГУ им. И.А. Буннина

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
Тема 1. Филология как практикоориентированное знание	4
Тема 2. Филология как комплексное знание.....	4
Тема 3. Язык как объект современной филологии	4
Тема 4. Текст как объект современной филологии	5
Тема 5. Homo loquens как объект современной филологии	5
Тема 6. Методология филологии	6
Тема 7. Филология в современном обществе	6
РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕ- РИАЛА И САМОПРОВЕРКИ	7
1. Тематика практических занятий	7
2. Тематика письменных работ	9
3. Тестовые задания	10
4. Краткий терминологический словарь	17
5. Авторский указатель	22
6. Перечень вопросов для самопроверки.....	26
РАЗДЕЛ III. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ, РЕФЕРИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ	28
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ	30
Сергей Аверинцев. Похвальное слово филологии.....	30
Д.С. Лихачёв. Об искусстве слова и филологии.....	34
М.М. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского.....	36
А.К. Михальская. Основы риторики. Определение современной рито- рики	38
М.Ю. Сидорова. Лингвистическая уникальность и лингвистическая ба- нальность русского интернета	40
Л.В. Щерба. Опыты лингвистического толкования стихотворения «Со- сна» Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом.....	43
Р. Барт. Предисловие к «Словарю Ашетт»	45
М.М. Бахтин. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук	48
Э. Бенвенист. Общая лингвистика. Глава XXIII. О субъективности в языке	52
В. фон Гумбольдт. Об изучении языков, или план систематической эн- циклопедии	54
Р. Якобсон. Язык в отношении к другим системам коммуникации	55
Р. Барт. От произведения к тексту	57
И.Т. Касавин. Текст. Дискурс. Контекст. Глава 6. Текст как историче- ский феномен	61
Ю.М. Лотман. Текст в процессе движения: автор – аудитория, замысел – текст	64

Н. Пьеге-Гро. Введение в теорию интертекстуальности. Глава 1. Что такое интертекстуальность?	68
У. Эко. Поэтика открытого произведения	70
Иосиф Бродский. Нобелевская лекция	73
Г.-Г. Гадамер. Неспособность к разговору	74
Т.А. ван Дейк. Структура дискурса и сообщения-новости	82
О. Мандельштам. О собеседнике	83
О. Розеншток-Хюсси. Право человека говорить	87
В.И. Карасик. Языковой круг: личность, концепты, дискурс	91
У. Эко. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки	94
М. Эпштейн. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук	96

Учебно-методическое издание

Зайцева Надежда Владимировна,
Харитонов Олег Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Учебно-методическое пособие
для студентов-филологов

Публикуется в авторской редакции

Формат 60 x 84 1/16. Гарнитура Times. Печать трафаретная.

Печ.л. 6,3 Уч.-изд.л. 6,1

Электронная версия.

Размещено на сайте: <http://elsu.ru/kaf/ruslit/edu>

Заказ 17

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»

399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 28,1